

2 р. 50 коп.

БОР. ПИЛЬЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

VIII

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



БОРИС ПИЛЬЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ

VIII

БОРИС ПИЛЬЯК

СТАРЫЙ ДОМ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА

1930

ЛЕНИНГРАД



О Т П Е Ч А Т А Н О
в 1-й Образцовой типографии
Гиза, Москва, Валовая, 28.
Главлит № А-46756. Х. 20.
Гиз № 32315. Зак. № 2179.
Тираж 10 000 экз. 15% п. л.

СТАРЫЙ ДОМ

I

На террасе в этом доме, на косяке у двери были многие карандашные пометки, с инициалами против каждой пометки и датою; каждый раз (раньше, когда дом не был еще разрушен), когда ремонтировался дом, всегда отдавались распоряжения не закрашивать эти даты, — и до сих пор еще хранятся пометки: «К. М. 12 апр. 61 г.», «К. М. 29 апр. 62 г.» — каждые две буквы, хранящие за собою имя, с каждым годом шли вверх. Потом на двадцатипятилетие исчезали года и появлялись вновь в самом низу двери. Инициалы К. М. — Катюша Малинина, прабабка Катерина Ивановна, возросли высоко: высока была и стройна в молодости правительница дома Катерина Ивановна. И каждая первая в роде, так случалось, возникала через каждое двадцатипятилетие внизу двери: дорастала до Катерины Ивановны. И последние даты, «Н. К. 11 апр. 924 г.» — достигли зарубок шестьдесят второго года Катерины Ивановны, появившись у пола 7 мая (когда цветла уже, должно быть, сирень под террасой) тысяча девятьсот восьмого года Н. К. Нонна Калитина, последняя в роде, даты ее и зарубины возрастили в годы — 914, 917, 919, 920—924.

Катерина Ивановна, в девичестве Малинина, потом Коршунова («Коршунихой» она и померла), — чтобы роду потом перейти к Калитиным, — Катерина Ивановна

померла: двадцать пятого октября старого стиля тысяча девятьсот семнадцатого года.

Этот дом, до плохой памяти того, чьи даты появились на рубеже восьмидесятых и девяностых годов, был приданым Катерины Ивановны. Жили тогда на Большой Московской (ныне Ленинская), где была торговля; только на лето приезжали сюда, как на дачу, на берег Волги, — совсем же переселились сюда, когда разорились и умер муж Катерины Ивановны, — и пометы на двери делали веснами, когда после зимы впервые выходили на террасу.

Терраса стояла на столбах, высотой сажени в две. Под террасой росли тополи, белые акации и сирень, и на десяток саженей — до забойки, до Волги — шли лесные склады, бревна, восьмерики, двенадцати, тес, дрова, — этим жили Коршуновы-Калитины, — и за забойкой была Волга, просторная и вольная каждую весну и в песчаных мелях каждую осень. С террасы в Волгу можно было бросить камнем и выкинуть тоску. И от улицы отгораживали террасу каменные лабазы, в которых раньше хранились соляные — для всего города — запасы, а потом, когда появился керосин, хранился керосин, вначале называвшийся фотогеном, потом фотонафтой и только в самом конце керосином. Перед четырнадцатым годом, после разорения, в лабазе хранили рогожи и уголь, — приданок к лесной пристани, где торговали пятериками. И, если на дом взглянуть с улицы со взвоза, — потому что дома строятся по ватерпасу, — казалось, что дом стоит покачнувшись: слева земля подходила под окна, справа под рядом этих окон был этаж кладовых и квартиры для сторожей, а лабазы были уже трехэтажные. К двадцать третьему году обвалился лабаз, и было похоже, что дом прыгал в Волгу и разбил себе рожу — охрененный дом — до крови красных кирпичей, да так и замер в своем скакже на дыбах, сдвинувшись, вжалвшись в землю для прыжка. Но дом

был каменен, громоздок, глух, приданое Катерины Ивановны.

Первое, что сохранилось в памяти об этом доме, — это как умирал дед, муж Катерины Ивановны. Это было в годы, когда пометы этого поколения на дверном косяке только что появились, — и в памяти осталось, что дед умирал медленно, в мучительной болезни, и в полуутемном (всегда занавешены были окна) его кабинете удушливо пахло судном красного дерева, похожим на трон деда, — дед не мог ходить, лежал на подушках высоко, и под подушками у него лежали конфеты: вот сладость этих конфект в удушии судна и осталась навсегда в памяти, — и, если бы где-нибудь в хламе на базаре, встретился этот красного дерева трон судна — через десятилетия — его нельзя было бы не узнать... Но под террасой, на взвозе, на бульварчике наверху так буйно каждую весну цветли белые акации и сирени, — так буйно под террасой и под двенадцати, под забойкой разливалась Волга, несла простор, баржи, пароходы, пароходные гуды, штормы, песни, «дубинушку», людей, бурлаков, мать — русская река. Тогда веснами (весной умирал старик) нельзя было не понять всего боя и вольности земли, вот этой спешающей, дурманящей черемухами, сиренями, акациями, песнями, толпами бурлаков, гудами. По дому ходила, плакала по муже громко и при всех, а в город ездила с зонтиком и в «капоте» (так называлась шляпа) парой в дышлах, училась векселя, писала закладные, — а на пристань, к приказчику Михаилу Арсентьевичу, спускалась с тростью — Катерина Ивановна Коршунова-Коршуниха.

Что это: сохранила память, или создали домыслы? — что в этом доме бывал Пугачев, что под домом в подвалах (под домом большие были подвалы, и были они засыпаны) — в подвалах жили разбойники и фальшивомонетчики и шли там подземные ходы. И мальчишкам — им все равно

было, что бабушка ездит в государственный банк и в сиротский суд — мальчишкам, тем, чьи даты возникли в девяностых годах, необходимо было раскопать подвалы, самим застrevать там так, что их надо было раскапывать, подкарауливать с кухонными ножами ночами (пока не заснут на посту) фальшивомонетчиков у дверей в кладовую и обдумывать, как бы снова изобрести Пугачева и каждому стать у него Хлопушей (память о Пугачеве крепко тогда жила на Волге, и мальчишки ее почерпали от бурлаков на забойке). Катерина Ивановна, возвращаясь из государственного банка, плакала на террасе об умершем муже и о том, что все дела он оставил на нее, — и мальчишек она наказывала — зонтом и тем, что сажала их в кладовую. В кладовой было темно и сырьо, окна были с решетками, и была кладовая о двух этажах; в кладовой лежали сундуки с добрами, в кладовой стояли банки с вареньями и сушеными, висели весы, на которых можно было качаться, в бочке был квас, — и в кладовой, качаясь на весах, мальчишки не скучали: если варенье, пили квас; иной раз (от Пасхи) оставались откупоренные, заткнутые хрустальными пробками вина, — тогда пили вина и заедали их цукатами; когда вместе с мальчишками оказывались и девчонки, было плохо — девчонки наказание выполняли обязательно, плакали и не позволяли (под угрозой пожаловаться) есть и пировать. Мальчишек и девчонок было много, потому что у Катерины Ивановны было одиннадцать, а возросло семь человек детей, — и мальчишки держались поодаль от девчонок; но сыновья и дочери Катерины Ивановны разлетелись в те годы по всей России (и даже за границу), слетались только к весне, чтобы оставить на лето своих детей; — и бывало, когда совсем исчезала ребятня из дома, — оставшиеся тогда не различали различия полов, — и память сохранила о том, как Борис и Надя травили повариху Андреевну

(о Наде — потом еще потому, что это была первая любовь Бориса). Опять была весна, когда красили на улицах дома, когда дымили на перекрестках в городе асфальтом и буйствовала сирень за загородиями палисадов, — и Борис с Надеждой порешили стать малярами, красить синькой стены; Борис ходил в коротеньких штанишках, с прорехами с боков, без карманов, — и он отправился промыслить синьки в кухне, где было царство Андреевны; он синьку с полки взял, но на кухню в этот миг вошла Андреевна; он синьку спрятал в прореху у штанов, но Андреевна потребовала, как требовала бабушка, — «руки показать!» — и синька вывалилась из-под штанины; Андреевна не жила в содружестве с Борисом, она сказала, что бабушке расскажет обо всем. Борис ушел позорно к Наде, которая его поджидала с тазом и водой, где надо было краску разводить, Борис сказал:

— Прогнала — Андреевна, дура.

Бабушки не было дома, — самое ужасное, когда не осуществлен проект, — и вскоре говорил Борис:

— А Андреевну мы отравим. Она страдалица будет и попадет в рай, — ей все равно, а нам — выгоды, не будет жаловаться бабушке и синьку мы достанем.

И потому, что бабушка уехала в сиротский суд с приживалкой Дарьей Ермиловной, а слово с делом не расходилось, — вскоре обсуждал Борис конкретно, как лучше отравить Андреевну и убеждал Надежду, что это выгода для всех. У бабушки была темная, строгая спальня со всяческими множеством всяких прекрасных вещей, и была там полочка, где хранились лекарства и яды — от живота, от простуды, от зубной боли, от запоя, от перепоя, от мигреней и нервов (хоть сама Катерина Ивановна «нервов» не признавала, как не признавала, что шар земной есть шар, а она на нем, «как вошь на голове»). Борис пробрался в этот шкаф, и план был так задуман: какой-то

пузырек с таинственными каплями был опрокинут в сахарницу, а сахар на полке в кухне у Андреевны. Андреевны в тот миг на кухне не было. Борис залез на печку, где спал Иваныч — кучер (какие сказки там рассказывал Иваныч про лошадей и Пугачева, и поговорка у Иваныча: «А ты, ребенок, не замай!»), Борис увлек и Надю на печь, чтоб посмотреть, как будет травиться и помирать Андреевна. Судьба предопределила жизнь Андреевны у печки, и печь ответила Андреевне огнем, вот тем, что разлился по роже у Андреевны синею — почти — волчанкой; Андреевна вошла на кухню, — ребята знали, что Андреевна пьет сто стаканов чаю в сутки; Андреевна взяла коробку с сахаром, открыла, — ребята замерли на печке; Андреевна крикнула сердито:

— Нюшка, дрянь, ты что плеснула мене в сахар?

Нюша — горничная ответила из коридора:

— И вовсе сахара мы вашего не брали.

Тогда Андреевна заворчала себе под нос, из куба в кружку налила кипятку, к столу присела, все ворчала; и взяла огромный кусок сахара, тот как раз, что был обмочен больше всех. Борис на печке замер, у Нади выросли глаза — удвоились от слез. Андреевна сахар понесла ко рту. И тогда заплакала и запищала Надя:

— Андреевна, миная, не ешь, умрешь! — не надо в рай, ты с нами поживи!..

Оторопелою волчанкой рожи Андреевна крикнула зловеще:

— Што-о?

— Мы у бабушки на полке взяли яд, — не ешь, умрешь!.. Ты синьки не давала...

Надя плакала. Разоблачение по-странныму воспринял Борис: он перевалился на спину, задрал к верху ноги и завизжал в блаженстве!.. Случилось так, что в это время из сиротского суда вернулась Катерина Ивановна,

и Надя и Борис, прошед сквозь зонтик бабушки, сидели долго в кладовой: Борис упивался варенье, а Надя, выполняя наказанье, каялась и плакала...

Там, дома, в тишине больших комнат, затихала усталость дня, только на террасе горели свечи под стеклянными колпаками, и около них вились серые бабочки, и сидела одиноко у самовара — бабушка — Катерина Ивановна, и стояли у двери, как раз там, где даты возрастаний, или кучер Иваныч, или повариха Андреевна. Те, даты коих возрастали сейчас же после «К. М.», отцы, разметались по всей России, инженер, фабрикант, столичный адвокат, — революционер и революционерка — оперная актриса, — два сына ушли под забойку, в галахи, в оборванцы, в горькие пьяницы... Тот, чья дата стала расти третьим уже поколением, Борис, только кусками помнил этот дом, смертью деда, веснами, кладовой, фальшивомонетчиком; — короткие детские штанишки на длинные серые — гимназиста — он сменил в городе, легшем далеко, за тысячу верст отсюда, там, где коротал его отец свои земские дни, полулегальным революционером, всегда забывающим и — при воспоминаниях — строго сущающим тот дом на Волге... И вновь приехал этот, теперь в длинных гимназических штанах и в курточке, новой весной, когда буйничала вновь сирень, топились котлы с асфальтом и гудела просторами и бурлаками Волга. И из другого какого-то города, из другого конца бескрайней России приехала туда же — не девочка в платьице в уровень штанишек с двумя косичками, вечный враг заседаний в кладовой, — а подросток с длинными косами, на пол-аршина поднявший свою зарубь на двери в год в коричневом платьице — гимназистка Надя. Борис ей сказал, что он социал-демократ, она сказала, что она — эс-эрка, и Борис подарил ей стихи Тана, книжку с золотым тиснением, потом оба они зачитывались «Рудиным»

Тургенева, и Борис грустил над Рудиным, а Надя — над Наташей. Они играли в крокет, и бывало, когда им приходилось быть в разных партиях: — случайно ли получалось так, что у Бориса срывался молоток и Надин — противника — шар катился на позицию. Они играли во мнения: — и случайно ли Борис всегда угадывал, кого выбирала Надя. Взрослые тогда часто ездили на лодке за город, на Зеленый Остров, там пили молоко, покупали у рыбаков стерлядь, варили на костре уху, пели песни у костра и спорили (тогда, мимо дома, мимо бабки Катерины Ивановны, мимо первой этой детской любви проходил девятьсот пятый год), — Надя и Борис сидели в лодке, разговаривали так, что разговор не остался в памяти, ногами болтали в воде (все разувались, даже взрослые, чтобы ходить по песку), — лодка накренилась, Надя качнулась и оступилась в воду — неглубоко, по колено, — но Борис, не думая, бросился в воду, стал там по пояс, поднял Надю и понес ее на песок: все это было моментально, глаза Нади были удивлены и испуганы, и смотрели в небо, — и Борис не заметил, как приблизил губы свои к щеке Нади, как поцеловал — и понял лишь, когда стал погибать, навсегда, бесповоротно, сгорая от стыда и горечи и раскаяния.

В доме внизу, там, где были лабазы, кладовые, подвалы, в полуземле были еще какие-то, похожие на тюремные, ширококаменные, за решетками — как их называть, — квартиры, каморы, — там на зимовки становились водоливы, — там в одном из таких сводчатых подвалов жил с семьей столяр Панкрат Иваныч, бастовал и голодал, — у Бориса был рубль, серебряный, подаренный ему вместе с кошельком, бабушкой, чтобы копил, — Борис заказал Панкрату Ивановичу — за рубль — полочку для книг... Борис и Надя сидели в зале, держась за руки, — прошла мимо бабушка Катерина Ивановна; Борис пошел

вечером с Надей к забойке посмотреть луну, тишь и Волгу, они сели на бревна, — Боря взял Надину руку, — над забойкой возникла грузная фигура Катерины Ивановны: — и на утро Надя собиралась ехать к родителям, ей не позволили даже проститься с Борисом, — а бабушка, в зале, под портретами дедов, стучала палкою о пол, говорила Борису непонятные и гнусные слова о кровосмешении, о том, что они не дети, и о том, как прожили она свой век с мужем, с дедом (с тем самым, о котором память сохранила вкус конфект в удущий его умирания), как никак не жили и только дважды виделись они до свадьбы...

...Потом Борис виделся с Надей — через десять лет, когда оба они носили уже отчества — в Москве, на Николаевском вокзале, где шли толпы людей, лежали чемоданы и приходили и уходили поезда. У Нади на руках был ребенок, она ехала к мужу в дальний город, где он, офицер, раненый лежал в лазарете, — Борис издалека узнал Надежду и увидел, как высока, красива истройна она. Вуалька на черной шляпе у нее была спущена. Она подняла вуальку, чтобы поцеловаться с родственником и заговорила о мелочах, о носильщике, о чемодане в багаже, — и тогда Борис услышал, что в голосе ее звучат слова так же, как некогда они звучали у бабки. Они сели на извозчика и поехали по Каланчевской и мимо Красных ворот к Нижегородскому вокзалу.

...Там, на Волге, — каждую весну буйничали Волга, воды, сирени. Дом стоял на взвозе, и внизу под забойкой буйничала человечья толпа, в пудах, штуках, тюках, в визге свистулек, в зное небес, облитых глазурью как свистульки. Двое сыновей Катерины Ивановны, Петр и Константин, скатились со взвоза туда за забойку, в рвань, в беспробудное пьянство, в водку, которую можно достать там воловым трудом, коий надо потратить, что-

бы таскать восьмипудовые кули с солью и воловые кожи,— тем соленым трудом, коий кроме пота и водки и горькой жизни, дает еще воблу; один из них погиб без вести, другой: — о другом присыпала полиция, после розысков, справку, что убит он или не убит, но скрывается где-то в Николаеве на юге, ибо пойман был с шайкой воров и грабителей, но отстрелялась шайка, оставив троих неопознанных убитыми? — и Катерина Ивановна не знала как записать Константина в толстой своей поминальной в коже и с крестом книге: за здравие или за упокой... Другие дети ее пошли со взвоза — по тогдашним понятиям — в гору: один строил мосты, путеец-инженер, к двадцати семи годам отрастил живот, и худенькая его жена писала в письмах, что изменяет ей с певицами из кафе-шантана, но деньги выдает на месяц аккуратно. Второй, уехав за границу учиться немецкой философии, вывез оттуда патент, открыл под Петербургом химический — красок завод, был он любимцем Катерины Ивановны, и потихоньку от всех, за долгами и процентами по векселям, посыпала ему она «на обзаведение» тыщиенки: — его жене, ничего не писала, кроме поздравлений и благодарностей на Рождество и Пасху. Третий стал адвокатом в Москве, по веснам ездил за границу, добряк и шутник, — это его дочь была Надя, — и жена его писала свекрови, что жить так, как живет она, свекровь, некультурно, невозможно питаться так жирно, нужно главным образом вводить в организм белки, — что капиталистическая форма жизни изживает себя и жить рентами с капиталов нечестно, и что они едут в этом году в Карлсбад... Была одна из дочерей у Катерины Ивановны, которая навсегда осталась с ней, выехав только однажды, повенчавшись, к мужу, на два года, чтобы вернуться опаленной и с дочерью на руках, Нонной, — Катерина Ивановна умерла двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года. — Послед-

ние заметы на косяке двери на террасе — «Н. К.» — Нонна Калитина — возникли у пола 7 мая (когда цвела уже, должно быть, сирень под террасой) и возрастали в годы — 914, 917, 918, 919—924...

II

Годы четырнадцатый и пятнадцатый прошли занавесью перед действием осьмнадцатого, двадцатых годов. В семнадцатом году пошли в переселения все правды и все народы, и манеры жить россиян: страшная гололедная гроза прошла по России, все размела, даже тех, кто жил в старом доме, все развеяла, все переморозила и перегрела в жарах и гололедицах. Катерина Ивановна Коршунова умерла двадцать пятого октября тысяча девятьсот семнадцатого года. Тех, кто вторым поколением возрастал после Катерины, их разметало по всей земле, не только русской: одни вспоминали старый дом где-то в Алжире; один рассказывал о нем в городе Петербурге, в Америке, Надежда Сергеевна вспоминала безразлично о нем в Благовещенске, в Восточной Сибири, куда занесли ее — ее муж и осколки колчаковских армий. Двадцать первый год, когда в старом городе людоедствовали, был распутьем для этих людей; как из огромных глетчеров, когда они тают, текут ручьи и несут с собой все, что замерзло в них, иной раз так, что замерзшее, консервированное холодом, текло таким, каким оно было вчера; — так из ледников осьмнадцатого — двадцатых потек двадцать первый. Третье после Катерины Ивановны поколение, кроме Надежды, оставшееся в России, не думало о старом доме в старом городе: для него революция не была ледниками, металось по России в делах и строительстве, в проектах дел и в строительстве проектов; и все же, должно быть, годы глетчеров заморозили их так, что в ручьях потом отогрелось и такое, что осталось от доледникового памятования... Годы двад-

дцать второй — четвертый много хранили в себе печали для этих людей; в эти годы ссыкивали люди друг друга, и приходили письма, как из-за гроба, из Алжира, из города в Америке Петербурга, написанные одновременно — и на разных языках и по-русски; а у себя надо было сразу перепроверять все, прожитое и изжитое в эти ледниковые годы, чтобы перестраивать — если не заново (потому что в жизни человека новым бывает все только один раз), то к лучшему —

Был апрель тысяча девятьсот двадцать четвертого года, когда сумерки зеленоваты и когда сумерки воруют покой.

И был апрель в деревушке под Москвою, и были сумерки. Тот, чьи даты возникли на косяке двери третьим поколением, написал в эти сумерки:

«Через три-четверти часа я пойду на станцию. Я приехал вечером, и еще с улицы увидел Катюшу. Мальчишки у окопицы выстроились в ряд передо мной, пропустили сквозь свою шпалеру, закричали понятное им. И было очень больно, вот в этих мальчишеских взглядах понялась моя отчужденность от этого дома, где прожиты все эти нелегкие годы, которые имели не одну только горечь. Детей любишь, как землю — и горькою болью было прижать их к груди. Жена рассказала, как Анатолий просил написать мне письмо: проснулся утром и спросил, где папа, потом захотел, потребовал, чтобы папа был дома, сейчас же сказал, чтобы написала письмо, продиктовал.

«— Написы, — плиеззай сколей, долгой!..

Жена заплакала, рассказывая. Анатолий сидел на своем высоком стуле, «Конька-горбунка» он присвоил себе, — Кате пошел Сойер; Анатолий рассматривал картинки, Катерина пошла спать, я подсел на ее кроватку,

она рассказывала мне, как 1-го Мая они будут кататься на автомобиле. Анатолий не хотел уходить от меня, — мать ему сказала, чтобы шел — «иначе папа опять уедет», он заплакал и покорно пошел — «только не уезжай...». И утром, в одной рубашке, голопузый, Анатолий прилез ко мне в постель, лег рядом, вставил в рот незажженную папиросу и «курил». Утром я ходил на село, принес конфект, — детишки встретили на улице: Анатолий взял конфектку и пошел с ней спать...

«Это очень страшно — дети. Их любишь, как землю, как себя, как жизнь. Горькая любовь: у меня сейчас, когда я собираюсь уходить, так же на душе, как должно быть у человека, который захворал раком и может с карандашом в руках высчитать, через сколько недель, часов и дней он умрет... Я хожу по дому, говорю, делаю и ем: не верно это, я здесь чужой... Горькая любовь — дети!..»

Потом этот человек шел полями и лесом, шарил его ветер и закутали туман и тьма, — и там в тумане и мраке пахнуло черемухой и пели соловьи. И из тумана на полустанке выполз поезд. Тогда думалось о — о человеческой лжи и правде, о том, что никогда, никогда человек не может высказать, понять и рассказать себя так, чтоб сам же мог утвердить, что это правда, — а в эти горестные дни расхождения с женой ни он, ни она не сумели сказать друг другу — правды, такой правды, которая свою беду, как чужую, по пословице, руками, руками бы развела, — правды, которая есть и, если была бы сказана, принесла бы покой и оправдание... — Поезд пошел в туманы, и было хорошо, что в вагоне не зажигали огня.

А Москва, которая от дней в этих последних днях апреля несла уже летнее удущье, встретила огнями, шумом тротуаров, смешками в переулке. Трамвай, тоже возродившийся из ледников, тащил медленно, поскрипывая.

Дома отпер французским ключом дверь, — комната пахнула нежилым, книги покрылись пылью, хлеб на окне зачарствел. Пришел швейцар, принес пачку писем, — и среди них было одно, денежное, из того старого города, о котором не думалось, забылось, — звал некий антрепренер прочитать там лекцию. Вспомнилось детство, — подумалось, что за все эти годы ни разу не вспоминалось о том городе и доме, — и вот сейчас неизвестно, кто там, — есть ли там кто из родных, уцелел ли дом. В тот же вечер пошла телеграмма о согласии приехать, а через два дня поезд понес к степям, на Волгу, в старый город.

В поезде, в международном вагоне, который шел по разбитым шпалам и мимо по-ледниковых станций иностранцем, — было просторно, неспешно и одиночко, и в одиночестве приходили мысли о бренности жизни, о проходящести ее, о детях, как земля, — вспоминалось детство, набережная на Волге за забойкой, где подслушаны были разговоры о Пугачеве, те разговоры, мечту о коих воплотил во плоть дней и будней тысяча девятьсот семнадцатый год, — и опять думалось о земле и детях, о годах и пыли лет. За окнами в поезде с каждым десятком верст становилось все степнее и просторнее, — поезд шел в места, где было людоедство: и когда поезд подходил к старому городу, на полустанке мальчишки продавали ландыши, белую акацию и сирень, как в детстве.

Тот, чьи даты сохранились или не сохранились на косыке двери старого дома в этом городе, — не поехал в этот дом, а направился в гостиницу, снял номер и, потому что от гостиницы до старого дома было далеко и неизвестно, кто там живет, не пошел туда в этот вечер, — ходил по бульварчику и смотрел оттуда на Волгу и на волжские далекие просторы под горой.

Утром он пошел в старый дом. Он шел переулками, где когда-то бегал мальчишкой и где проезжали раньше от набережных громовые ломовые, — теперь здесь было пусто, росла трава из камней, а за палисадами, за полуразрушенными воротами и заборами буйничали сирень и белая акация. Людей здесь не было, и каменные лабазы и амбары для муки стояли без дверей, разинутые и пустые, в прошлогодней белине и полынке. От старого собора (как раз того, около пантеры которого валялась пушка Пугачева) широким платом размахнулась Волга, вольная и буйная, как каждую весну. И Волга, как переулки у старого собора, была пустыни, безмолвна, — там, где стояли баржи и толпились тысячи, ничего не было, и забойку размыло водой. А когда он, человек, стал опускаться со взвоза, он услышал, как буйно гудит Волга лягушечным криком, никогда здесь не слышанным раньше, и где-то рядом, забыв про день, шалый от ночи пел соловей. Мостовая на взвозе разбилась, выветрилась.

А дом стоял, показалось, попрежнему, только та сторона его, где были амбары, развалилась и посыпалась в Волгу; а потом стало ясно, что пепел отошедших лет посыпал и его: не было вокруг него ни одного забора, двор, где стояли тысячи пятериков, уступами шедший к Волге, полег залишающей собакой, серый, в белине и полыни. С террасы была сорвана крыша, — но от террасы шло отдохновение: сирени и акации под ней разрослись, выползли оттуда на двор, полонили пустое пространство буйно, по-весеннему весело. У парадного входа ступеньки крылечка были разбиты, и парадная дверь повиснула в воздухе, — он, человек, пошел задней лестницей.

И там, на лестнице в холодке встретился старичок, сапожник за своим ремеслом, с валенком в руке.

— Кто здесь живет? — спросил он, пришедший.

Но старичок не успел ответить: навстречу вышла девушка, очень высокая, сильная, с ведром в руке, — и она сразу напомнила и старый портрет Катерины Ивановны и Надю, — Надю, тогда, ту, в юности. Пришедший понял, как бьется его сердце, — пришедший вспомнил Надю и детство, — пришедший не понимал, кто стоит перед ним. Девушка поставила ведро и, легко через ступеньку, побежала навстречу.

— Здравствуй, — мы тебя давно уже ждем, мы читали афишу, — сказала она, и голос был — Надин и бабушкин. Где твои вещи, давай, я принесу.

— Нонна, приехал? — крикнули сверху.

...На террасе уже не было крыши, не было шума за забойкой, — росла, буйствуя под террасой, сирень и еще просторнее шла Волга. В доме — в главных комнатах жил столяр Панкрат Иванович, переселившийся сюда из подвала, — жили сапожник, телефонная барышня, два грузчика, две студентки. И в дальних комнатах, где раньше никто не жил или жили приживалки Катерины Ивановны, домирала дочь Катерины Ивановны, та, которая уезжала из дома только на два года, чтобы опалить любовью свои крылья, — и с ней жила ее дочь, Нонна. На весну Нонна выехала из этих комнат, — устроила себе жилье на лестнице, под террасой, откуда из окна видна лишь Волга, — с ней там жила подруга, ушедшая от своих, от отца и матери. Там у Нонны было занятие и странно, точно это были конструкции театров тех лет: на перегибе лестницы была прикреплена кровать, как птичье гнездо, пол — остальной — шел широкими ступеньками лестницы, амфитеатром, чтобы можно было не иметь стульев; на стенах Нонна повесила портреты, старые, дедов, — бабка Катерина со стены — в молодости — смотрела Нонной, четвертым поколением; Ноннин туалетный столик повиснул над отвесом ступенек; раскрытым

лежал том Плеханова, и рядом с ним кастрюля с пшеничной кашей...

Та дверь на террасе, где делали пометы возрастаний, и самые эти пометы сохранились. Этот, третье поколение, нашел свои пометы, последнюю свою помету, — стал под нее и стало больно на минуту: он снизился в росте вершка на полтора. Нонна ушла с ведром, — запела вдруг, весело, частушку о «миленке», — вернулась быстро, поставила ведро.

— Меришься? — сказала. — Я тоже каждый год мерюсь. Ну-ка. Стала к двери, выпрямилась, красавица: и выяснилось, что выросла еще на вершок, — на два вершка обогнала последнюю, шестьдесят второго года, заметку Катерины Ивановны, — сказала:

— Самая высокая в роде!

Вошла Ольга мать Нонны, — Нонна ушла с ведром, запела незнакомую песню. Ольга села к барьера террасы, тот стал лицом к Волге.

— Хорошо поет Нонна, — сказал он.

— Да, недурно, — учится в консерватории... еще учится в вузе, на фоне, слова-то какие собачьи, — сказала вяло Ольга.

— Как жили?

— Что же, у нас тут людоедство было, говорить не о чем, как жили... Нонка, та не унывает, поет, учится, — упорная девушка, в бабушку. И вот чего не пойму: или молодость это, или время такое — вроде коммунистки она — все новое нравится, все на собрания ходит, вот и тебя слушать билет купила... Как жили?.. лучше не поминать. С Нонной я все ругаюсь...

— От бабушки ничего не осталось?

— Ничего... Так рухлядь.

— Старинные вещи были, бисерные вышивки, посуда, утварь, книги, — ничего?

— Ничего, все размело. Нонна вон, что-то подбирает, спроси у нее... Я тебе жаловаться на нее буду, нехорошо она со мной, не слушает, — хорошо еще померла мать, прокляла бы... Комсомолка она, слова-то!..

Вошла Нонна с самоваром, сказала:

— Отмериться-то я отмерилась, а не зарубила. Надо зарубить.

Тот встал и пошел по комнатам, все было и по-старому и по-новому одновременно, — в комнате Катерины Ивановны, где была полочка с ядами, жил сапожник. Снова вернулся на террасу. Ольга говорила Нонне:

— Опять к Панкратке ходила?..

Нонна сказала:

— Знаешь, с нами теперь живет Панкрат Иваныч, — так мама все ругается со мной, зачем я к нему хожу, не может забыть, что он жил у нас в подвале.

Стало скучно, буденно, вернулись свои мысли, — замолчал и стал пить чай...

...Вечером Нонна приехала за ним на лодке, повезла на острова, говорили о пустяках, Нонна рассказывала о своих делах и знакомых, о экзаменах, о студенческих комкомах, — Волга была просторна и благостна, гребла Нонна.

— Ну, как же студенты смотрят, понимают? какие песни поют?

— Песни поют старые, все попрежнему о прекрасном, — студенты хорошие ребята, и всем нам приходится все заново строить, все разрушено... Я стараюсь быть все время в университете: дома мертвь, тоска, развал, все в прошлом, шипение, — вот я и хожу по этому дому только к Панкрату Иванычу, о чем он мечтал всю жизнь, приходит. Но я пойду по другому пути. Ты знаешь, как мы жили? — кем я не была, — и торговкой, ездила за мукою и бараниной, и за керосином, по Волге, и на па-

роходах, и артелью на лодках, бечевой по берегу, — была дровосеком, месяц в году по осени жила в лесу, дрова рубила на зиму, была грузчиком — разгружала вагоны и баржи, — контрабандой носила из-за Волги от немцев муку, туда шла девушки, оттуда — беременной бабой, и окопы рыла... Жили упорно. Вот эта жизнь меня и научила понимать ее жизнь: никогда и нигде я не пропаду!.. Вот, я учусь петь, на фоне юридические науки изучаю, — а мне бы командиром парохода быть!.. Мать рушится, как дом... а я могу Волгу переплыть, четыре версты...

— Да дом разрушился...

— А знаешь, что я чуть-чуть было не сделала? — хотела было прошлой весной взять дом в аренду, у меня есть приятели — артелью отремонтировать его своими руками, конечно — выгнать всю шантрапу прошлогоднюю, как летоший снег, чтобы дом не рушился... Да я его еще возьму. У меня к нему странная привязанность, к дому, — я вот собираю все, что в нем осталось, какие-то старые тряпки, ненужные книги, вещи — нашла где-то птицы, которым лет сто, для оправления сальных свечей, берегу их, это остатки какой-то культуры, которой у меня нет... Дом я возьму в свои руки, только торговой пристани там уже не будет, — я все дворы засажу листвой, пусть растет, и так засажу, чтобы ни одной тропинки, запутайся, глаза выколи!..

Нонна зачерпнула за бортом горстью воду, попила из горсти.

— Зачем ты сырью воду? —

— Пустяки, то ли бывает, —

и запела незнакомую песню, очень дремучую.

— Что это ты поешь? —

— А это разбойничья песня, сложена по преданию, при Пугачеве... Я о Пугачеве реферат писала, хороший был человек, люблю таких...

— А ты, должно быть, очень на бабку похожа, только времена другие, бабка бранилась — «уу, бурлак, Пугач!»

...Приехали уже поздно. Нонна привязала лодку, вышли из-под забойки, выпрямилась, поправила голос, — и вдруг опять стало ясно, что это Надя, когда-то давно, вот здесь же на забойке, когда на другой день бабушка говорила о кровосмешении... Нонна пошла вперед, привычно, крепкой походкой, красавица, силачка. Домой не заходили, пошли в гостиницу взять вещи, извозчика наять Нонна не позволила, понесла чемодан на плечах. У дома во мраке кто-то лежал и хрюпал. Нонна поставила чемодан и пошла туда, оттуда послышался голос бабушки:

— Э-эх, негодяй, опять надрызгался? Вставай!

Кто-то завозился во мраке, и Нонна появилась не одна: за шиворот она поддерживала сапожника, что жил в спальной бабки, другой рукой взяла чемодан и опять пошла вперед. Ночь была темна. За террасой Волга лежала простором мрака, безмолвием, чуть чуть лишь плескалась вода у разбитой забойки.

И вспомнилось: —

...Каждую весну, когда слетались все в дом к бабушке, пометы на двери росли на четверть вверх, и росла под террасой сирень и буйничала Волга за забойкой. Там, за забойкой на просторе вод, стояли сотни барж, косоушек, рыбниц, росшив, дощников, пароходов, — под Часовенным взвозом на баржах была ярмарка, и Катерина Ивановна сама водила туда внучат, в прелести ветлужских крашеных деревянных баб, свистулек, ложек, чашек, коньков (тех самых по Клюеву — «на кровле конек есть знак молчаливый, что путь наш далек!»). От барж рыбными усами шли канаты якорей, к забойкам от барж и росшив положены были сходни, на которых так хорошо было кататься, — и тысячи людей-бурлаков, голахов, баб, —

таскали на спинах тюки с мукою, лыком, пеньками, — крепко пахло там воблой и волжской водой и просторами. Под забойкой бабушки стояли ветлужские баржи с лесом и дровами, таскали голахи и бабы на носилках и катили на тачках один за другим, вереницей — дрова на берег, строили на берегу из них пятерики, целые фантастические домины, где хорошо и с риском быть заваленным, прятались, играя в прятки. Под забойкой все вместе кричали лягушками и визжали, мужчины и женщины, купаясь в мутной воде и, выкупавшись, обсыпая, ели воблу, поколотив сначала ее по тумбе или камню. В пивных на берегу и в лавочках торговали бубликами и — пиво ведь горькое — кислыми щами. На забойке, под террасой, буйничала сирень. И вот над этой блестящей водой, над камнями взвозов, над домами и лачугами, над тысячной толпой полуазиатского города — каждое утро поднималось солнце, паяющее, золотое, которое раскрашивало небо точно такою же глазурью, какой были залиты глиняные ветлужские свистульки, похожие на петушков. Тогда вместе с солнцем там, под забойками, возникал человеческий гул, кричали грузчики, перекрикивали их разносчики и торговки:

— ...сбитень, сбиишень холааодный!.. — луку, луку веленогоо!.. — гудели пароходы и кричали истошно с барж непонятное в рупоры. — А ночами, когда стихала вода и небо размалевывалось по-новому, сначала медленной красной зарей, а потом звездами, — за забойками, в дровах, на земле отдыхали люди и говорили — говорили, каким разбоем привалило счастье денежное Рукавишниковым и Бугрову, рассказывали сказки, говорили — об Имелъяне Иваныче Пугачеве (пушка Пугачева валялась рядом на горе у Старого Собора), и казалось иной раз, что Пугачев, Имельян Иваныч, был — вот совсем недавно, ну в позапрошлом году, — вон там, за Соколо-

вой горой, он объявился, позвал пристанского старосту и сказал ему:

— Признаешь ты меня, Иван Сидоров, или нет? —

— Не приходилось мне тебя видеть, батюшка, никак не признаю, — говорит Иван Сидоров.

А Имельян Иваныч тогда — бумагу из кармана и говорит:

— А есть я убиенный царь — император Петр III, — и в бумаге о том написано.

Ну, Иван Сидоров первым делом — в ноги, потом ручку целует и говорит:

— Признал, признал, батюшка, — глупость моя, старость, слеп стал. —

Ну, Имельян Иваныч первым делом говорит:

— Встань на ноги, Иван Сидоров, не подобно трудающему человеку в ногах валяться, — а потом:

— А теперь сделай ты мне реляцию, кто здесь идет против трудящего народа? —

— Барин у нас, помещик, против трудящего народа, — говорит Иван Сидоров. — Живет он в своем доме и кровь нашу пьет.

— Подать сюда барина, — говорит Имельян Иваныч.

И барина привели, плачет барин, не охота с жизнью расставаться, сладка, вишь, жизнь была. А Имельян Иваныч ему:

— Жалко мне тебя вешать, потому жизнь в тебе все-таки человечья, а ничего не поделаешь, приходится как ты — барин и помещик. — Сдвинул брови Имельян Иваныч, взглянул соколом, да как крикнет: — Господа енералы, вздернуть негодяя на паршивой осине!..

Поднимался иной раз месяц в夜里, туманил просторы волжские, холодил волжской вольной водой, — с горы сползал запах белой акации, роса пробирала лопатки, и

страшновато тогда было подниматься через кубы дров, затаившие в себе дневное тепло, потому что думалось, что — вот сейчас придет Имельян Иваныч, станет и скажет...

...Вошла Нонна и села на барьер, скрестила руки. И тогда тот, чьи даты возникли на этой террасе тридцать лет тому назад, вдруг почуял, что к нему пришла та правда, которая все разводит, как пословица, руками, облегчающая правду: он понял, что жива жизнь жизнью, землей, тем, что каждую весну цветет земля и не может не цветти, и будет цветти, пока есть жизнь — и острою болью захотелось, чтобы здесь на террасе — именно на этой террасе, в забытом городе, в забытом доме, оторванные жизнью, и все же родные, единокровные, — стали его дочь Катюша и сын Анатолий, стали к косяку двери и отмерились бы, и мерились бы так, пока не возрастут, — пусть не будет его, пусть идет новая жизни!.. И тогда стало на минуту, в этой бодрой отреченченской радости, — больно, потому что все проходит, все протекает.

Под террасой, как и при бабке, буйничала сирень, пахнула так, что могла заболеть голова, — и к запаху сирени едва-едва примешивался запах тления, потому что за террасу выливали помои.

Сторожка в Шихановском лесничестве на Волге.

8 июля 1924.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КНЕЕВ ПИТЕР КОМАНДОР

Не презирати, не за псы имети,
Паче любви, яко свой дети.

Симеон Полоцкий

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,—
Как слезы первые любви.

Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты

А. Блок

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Понѣже Государство, какъ учать французы, гармонія всѣхъ естествъ есть, не токмо фізіческихъ, но і духовныхъ, мню я, что Его Величество Государь Петръ Алексѣевичъ единое оскудѣніе учинілъ Государству Россійскому, ибо владодательство, т.-е. політика, не есть дебошанство. Бывъ многажды въ Винесіи, Парізѣ і земляхъ Фламандскіхъ не могу оставить мыслю Родины. Гісторія ея туманна есть, понѣже холопы и прочій подлый народъ оставленъ въ бытии первобытномъ, а шляхетство, яко-бы штудіруя въ Академії-де-Сіянсь, ім'я Регламенты і во всякихъ художествахъ искусство получувъ, — не есть что кромѣ, како амурщики і галанты, пітухи і

мздаймы, мордбівцы і воры, і казны государівій казнокрады, ибо совѣсть ихъ пропита есть і отцовы за-казы забыты суть. Младымъ отрокомъ отъ сослов матері оторванъ бывъ, получивъ искусство артіллериі за грані-цію, съ младыхъ летъ пріученъ бывъ зъло шти, обрѣль я ко зрѣлому возрасту единую скорбь, безвѣрие і плутнічество. Государство наше Россія пребываетъ въ гладе, морѣ, бунтахъ і смутахъ.—

Так записал в юрнал свой гвардии обер-офицер Зотов, отбывая дежурство в Адмиралтейской крепости, в канцелярии Адмиралтейств-коллегии. В каменной полутемной комнате со сводчатыми потолками было захаркано и заплевано. За приземистыми, уже успевшими заплыться, оконцами, на квадратном дворе грудами свалены были лыко, мочала, канаты, распиленный лес. Слева пламенела кузница. От нижнего каменного бельверка шла куртина. По недостроенным бастионам ходили часовые. У самой Невы, на доке стоял скелет фрегата, напоминавший костяк дохлого мамонта, привезенного недавно в куншткамеру. Около бастионов и у фрегата толпились работные людишки, пригнанные сюда со всей России, тверские, вологодские, астраханские, калмыки, татары, хохлы, в рваных зипушишках, в лаптях, а иные и без лаптей. Снег лежал грязный и осунувшийся. Ветер дул с моря, нес ростепель, невские льды тронулись ночью, серые облака шли неспешно, — мартовский день походил на октябрь. За рекой одиноко торчали неспиленные еще сосны, точно на лесной порубке. На Васильевом-Хирви-сари острове, пилкой очерчивая серое небо, толпились кое-где еловые, стройные перелески. Над головою, на адмиралтейском спице пробили куранты семь, и сейчас же за ними заскрипели цепи подъемных ворот. Вошел солдат и поставил на столе тусклую масленку. По бою курантов, по скрипу ворот, по походке солдата, по тому,

как поднят штандарт, — гвардии офицер Зотов научился узнавать о настроении государя: служба была го с у д а-ре в а. И всегда, когда Зотов думал о Петре, все существо его напрягалось тоскою и болью: ему вспоминался серенький январский день, когда отца его, князя-папу, Никиту Зотова, восьмидесятичетырехлетнего старика, по именному указу государя, венчал девяностолетний поп с шестидесятилетней старухой Пашковой. Шествие, санкционированное указом, начиналось у Зимнего дворца. В сани «молодых» были запряжены четыре медведя, к козлам был привязан олень. Во главе процессии шёл палач и кесарь Ромодановский, коий «пьян во все дни». Все министры, аристократия, дипломатический корпус, — все присутствовали на этом узаконенном издевательстве. Медведи, которых били, дико ревели. Князь-папа наряжен был в костюм жреца, полуобнаженный, дрог на морозе, — дрог и кривлялся, кривлялся, чтобы увеселить государя.

В канцелярии Адмиралтейств-коллегии Петр был утром, Зотов еще спал, устроившись на столе; его разбудил сержант. Государь вошел в треуголку, одетый в зеленый сивильный сюртук, сильно потрапанный, в узкие черные штаны, красные чулки, вязания императрицы Екатерины, и в скоженные немецкие туфли (карманы сюртука и брюк оттопыривались сильно, набитые трансциркулем, компасом, ватерпасом и прочими инструментами, которые Петр всегда носил при себе). Шел сгорбившись и стремительно, размахивая руками, широко расставляя тонкие свои ноги, косолапя, подражая, по привычке, голландским матросам: стало быть, его величество был в расположении духа хорошем. Гвардии обер-офицер Зотов стал во фронт. Государь, на европейский манер, подал руку. Куранты пробили три четверти пятого пополуночи. В окна шла туманная муть. Государь непристойно сострил, актерски расхохотался, как всегда, на о, — прошел к столу,

просматривал бумаги. Затем отомкнул своим ключом шкаф с тайными государственными бумагами, касающимися адмиралтейства, и жестом пригласил проследовать в него офицера Зотова.

Сказал:

— Возможности не имея пребывать ионе на заседании Адмиралтейств-коллегии, прошу ваше благородие присутствовать при нем тайно, в сиянсе. Донесение извольте учинить начальнику тайной канцелярии графу Петру Андреичу.

Никогда, нигде не было такого сыска, как при Петре в России. Гвардии офицер Зотов, бряцая эспадроном и шпорами, прошел в шкаф, от государя пахнуло потом и водкой. Петр замкнул ключ и, уходя, крикнул бодро:

— Имею честь поздравить ваше благородие с открытием навигации. В завтрашний день пожаловать просим ко дворцу на трактамент!

В шкафе было темно и душно, в щели шел серый свет. Зотов покурил из голландской своей трубки, устроил сидение из бумаг, оперся на эспадрон и заснул, привыкнув спать во всяких положениях. К десяти стали собираться члены. Апраксин послал сержанта за водкой. Зотов подслушивал: говорили то, что говорила вся Россия, так же, как говорила вся Россия, — о том, что Россия разорена, что в Заволжье бунтуют калмыки, на Дону непокойны казаки, что по деревням голод и смерть, — по деревням пошли юродивые ради Христа, в деревнях нашли антихриста... Начальник тайной канцелярии граф Петр Толстой пришел в коллегию к четырем пополудни и выпустил Зотова из шкафа. И Толстой, человек, задувший в Адмиралтейском и Петропавловском застенках не одну сотню людей, сидя у стола, глядя на Неву немигающими своими глазами, говорил так же, как все, трусливо и зло:

— На Кайвусари-Фомином острову новый праведник сыскан. В Адмиралтейский застенок сей юродивый доставлен. — Толстой помолчал. — Вся Россия зело плачет. Ночью приди.

Зотов спросил:

— Веришь, ваше сиятельство, ради Христа юродивым? Толстой осмотрелся кругом, пристально взглянул на Зотова немигающими своими глазами, сказал тихо:

— Верой весьма преисполнен.

Куранты пробили семь с четвертью. Сумерки мутнели грязно. Нева набухала, с моря шел ветер: к рассвету надо было ждать наводнения. Зотов прошелся по комнате, разминая ноги в ботфотах с голенищами до паха. Остановился у двери и прочел царский указ, уже пожелтевший и засиженный мухами:

— «Великий Государь указал силь объявить, какъ и прежде сего объявлено было, чтобъ у кораблей и прочихъ судовъ, такожъ у галеръ въ гавани, при Санктъ Питербурхе, никакого огня не держать, такожъ и табаку не курить, а ежели кто въ ономъ същется виновенъ, будеть бить: по первому приводу будеть наказанъ 10 ударами у мачты, а ежели приведенъ будеть въ другой разъ, оный будеть подъ киль корабельный подпущенъ и у ма ты будеть бить 150 ударами, а потомъ вечно на каторгу сосланъ». —

Прочитав, гвардии обер-офицер Зотов набил трубку и от масленки закурил.

Заснув еще, в двенадцать он сделал обход часовых, — часовые стояли на посту 24 часа и не смели спать, ибо биты были тогда батогами нещадно. Сменяв посты, пе-

редав караул и дежурство, направился домой, тут же, на Московской стороне, за Мьей-рекой, в гвардейские казармы. Проскрипели подъемные ворота, в канале шумела прибывающая вода. Охватили мрак, сырость, ветер, ботфорты вязли в разбухшей глине. На пустырях пересвистывались доворные, на Кайвусари-Фомине острове звонили в колокол. Во мраке натыкался на сваленный лес, на изгородья новых недостроенных построек. У каторжного двора испуганно окликнул часовой. Италианский дворец горел желтыми огнями. На немецкой слободке, где жили съехавшиеся со всех стран на легкую наживу всяческие неудачники, прохвости и шираты, трещала котушка. Ветер дул упорно, сырой, упругий. После сutoчного сидения в сырой канцелярии, нудного безделья и неловкого сна члены тела казались помятными, опухли глаза, слипался рот. Заморосил дождь. В офицерском корпусе гвардейских казарм были шум, пение, крики, визжал орган: офицеры только что вернулись с ассамблеи, где наплясались и перепились. Молодежь толпилась около дневальной каморы, куда затащили срамную девку.

Гвардии обер-офицер Зотов собирал и собирался записать в юрнал свой материал об основании Санктпетербурга, парадиза Петра, — этого страшного города на гибких болотах с гибкими туманами и гнилыми лихорадками. Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил — на болоте невской дельты, на острове Енисари, — Петропавловскую фортацию, совершенно не думая о парадизе. Это было в семьсот третьем году, — и только через десять лет стал строиться — Санкт-Петербург, — строился так же дико, стремительно, жестоко, как и все, что делал Петр.

Главной задачей устроения парадиза было, чтобы он не походил на Москву. Санктпетербург должен был стать

каменным: указом государя запрещалось ставить каменные поставы во всем государстве, кроме Санктпетербурга, а в оном, ежели дом истроен был из дерева, — шить его тесом и раскрашивать под кирпичи. «За Туркскою воиною зѣло мало въ высылкѣ было работныхъ людей въ Санктъ-Петербургъ-Бурхъ, чего для потщитесь къ будущему лѣту и къ зимѣ указаное число выслать: — съ 35 городовъ, посадовъ, дворцовыхъ волостей, помѣстьевъ, вотчинъ, всякихъ чиновъ людей, съ крестьянскихъ и бобыльныхъ дворовъ» — отовсюду велено было пригонять въ Санктпетербург «от 9-ти дворовъ человѣка». Людей сгоняли палками, гнали въ цепяхъ, работные людишки должны были итти «съ плотничными снарядами, съ топорами, а у всякаго бѣ десятника было по долоту, по бураву, по познику, а хлѣбу и запасу тѣмъ работникамъ взять съ собою чѣмъ мочно». Работные людишки голодали, гнили, мерли отъ повалок, редкий работалъ больше года, каждый год вымирало до ста тысяч людышек — город бутился человеческими костями. Нехватало инструментовъ, землю носили въ подолахъ рубах; нехватало лаптей — ходили босыми. Работали, стоя по пояс въ водѣ; жили въ гнилыхъ землянкахъ; иные уходили въ бега, въ леса, къ разбойникамъ; иные бунтовали, — тогда ихъ вешали у Петропавловского кронверка десятками, для показу. Рабочихъ указ данъ былъ брить. Местные люди жульничали (хорошихъ жуликовъ любилъ Петр), откупались и покупались взятками: — взятки Петр называлъ «коварствомъ». Писалъ: «Съ Казанской губерніи не дослано сюда за прошлый годъ положенныхъ денегъ больше 20 т. рублей, чemu удивляемся мы, что такія дѣла у насъ забвенію преданы», — и грозилъ дыбою. Хоронили холоповъ тамъ же, где они подыхали. Работные людишки, раздетые, голодные, цынготные, безумели отъ страха, мучений, непонимания. Вельможамъ выезжать безъ разрешения изъ города было воспрещено. На всехъ госу-

деревых крышах указ дан был ставить «спицы», — дабы время свое люди по часам знали. Начальником города был князь Меншиков, генерал-губернатор ингерманландский, — либер-киндер-Саша, как звал его Петр.

На рассвете ударили в набат. На Петропавловской и Адмиралтейской фортециях запалили из пушек. Офицеры выбежали на плац, из казарм выбегали солдаты, примыкая на берегу к фузелям багинеты. Заревел сигнальный рог. Выстроились. Был грязный рассвет. Ветер перешел в штурм, свистел в трех голостволовых соснах, еще не срубленных. Говорили о наводнении: на Васильевом-Хирвисари острове смыло весь запасенный лес, потонул в канале гвардии офицер Дерябин. Нева разбухла, посиела, щетинилась зелеными беляками. Кто-то сказал, что подступают шведы, заговорили о бунтах. Дождь косил косо, холодно. Загудели колокола в церкви. Опять ударили из пушек. Скомандовал дежурный генерал, офицеры передали команду по ротам. Вышли с плаца, пошли по направлению к Италиянскому дворцу. Утро было мутное, холодное, мокрое, грязное.

На дороге повстречал конный ординарец, снял шляпу (ветер сорвал его парик) и крикнул:

— Его императорское величество конфузию сию учинить приказал с первым текущим апрелем и с открытием навигации! А також указал прибыть ионе ко дворцу на трактамент!

Полк прокричал приветствие императору и повернулся обратно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С взморья, из-за Малой Невы, из лесов, часто набегали на Санктпетербург волчьи стаи, драли и скотину, и людей. Разливом загнало стаю на Миствула-Елагин остров. Было доложено государю, и Петр поехал ловить «сих

раритетов» для куншткамеры, погнав с собою сотню людышек. День был мутный и мокрый.

На Кайвусари-Фомином острове, за кронверком, у Татарской слободы, где на песках торчали тоскливые юрты киргиз и калмыков, обезумевших дикарей, пригнанных сюда с Заволжья, у старых ветел, объявился человек. Был он бос, с раскрытым головою, с бородою седой до пояса, с лицом сухим и строгим, в ладной монашеской рясе. Старик говорил о государе, о том, что царь Петр есть-де антихрист, будет-де весь народ печатать, «а на которых печати не будет, тем и хлеба давать не будут». Говорил, что Нева-де пойдет вспять, развернется хляби и снесут проклятый народом город. Показывал калмыкам налоговый знак на право ношения бороды, где выбиты были двуглавый герб российский, нос с усом и борода, и надпись: «дань заплачена». На старика, на толпу бросились семеновцы с батогами, старец скрылся за юрты, его ловили. Петр, возвращаясь с ловли волков, принял участие в новой ловитве, командовал. Сыскан старец был вскорости, за кронверкским валом, к вечеру притащен был в Адмиралтейской фортеции застенок: в двадцатом году, после удушения в Петропавловской крепости Алексеевском равелине царевича Алексея, дан был указ, — «Для розыска во всякихъ дѣлахъ застѣнокъ сдѣлать въ Адмиралтейской крѣпости». Под крепостным валом, в подземельи, в канцелярии застенка встретил старика граф Толстой. Тускло горела масленка, залитая конопляным маслом, комната была приземиста, без окон, со сводчатым кирпичным потолком. Толстой сидел у стола, расставив ноги, барабанил тонкими своими пальцами по столу, смотрел немигающими глазами долго и пристально, молча. Старик стоял перед ним прямо, неподвижно. От графа пахло водкой, от старика — луком и редькой.

— Как звать? Отколь? — спросил Толстой.

— Крещен Тихоном. С Белоколодезского погосту, с Коломенской волости.

— За трегубую аллилу и двуперстие, что ли?

Старик помолчал.

— И за них.

— Поди сюда, сукин сын.

Старик подошел, граф ударил его ботфортом снизу в живот.

— Глаголь орацию. Говори, когда потоп предрекаешь? Какую силу в медали нашел? Слово и дело государево.

— Егда потоп придет, един бог саваоф вестя. Предсказать еще не мочен.

— Говори орацию.

Молчали оба долго. Заговорил старик.

— Грахф!.. Внемли, — всякого благорассудного естество есть, но не оскуденья. Што с землей нашей стало есть? — стон, вопль и плач мирской. Единые балаганства суть. Весь народ наготовствует, совесть купается, правда в бордели скрыта. О, Россие! балаган!.. Мой сын стариком стал, — и все война, немцы засилили. Царь с трубкой в зубах, как матрuse заморский, одет, как немчин, пьян, яко ярыга, ахальничает, матершинит, яко татар, — ца-арь!.. Грахф!.. прими сие: царь наш подмениный, немчин, — егда он за море с ближними людьми поехал, в стогольское царство прибыв, к стогольской той царице-девке пошел, а оная девка, Ульрика, спать с собою его положив, над государем нашим надругалась, на пуп своей клала, а пуп ей как сковорода горячая, и сменила немецкая стогольская девка Петра Алексеевича оборотнем, недабы брил он бороды, кафтанья резал, однорядки, фрези... Грахф!.. печатать хлеб скоро будут, понеже привезены печати. Летосчисление наинак поставлено. Еретики папежники, лютеры веру застят... А царица та, сто-

гольская девка Ульрика, как была именинница, стали ей говорить ее князья да бояре: — пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Оная блудная девка сказала: — подите, посмотрите, коли он жив валяется, для вас его выпущу. Те, посмотря, сказали: — томен, государыня. — А коли томен, так вы его выкиньте на помет. А Алексашка Меншиков, конюх, христопрадавец, да Лесфор-немчин, подобрав его в тот час, в бочку смоленую замолили да в море выкатили. А как видел это стрелецкий сотник, то новый их содружник-дебошир, государев оборотень, и облютился на стрельцов. Авдотью Федоровну в монастырь сослал, потаскушку Монсову взял, — оморок мирской!.. Грахф! На смех все изделано есть!.. на смех, на изdevку... Балаган!.. Отверзни очесы своя!.. Грахф!..

Масленка горела тускло, коптила. Стены и потолок были в сырости, в мокрицах, сырость пронизывала. Толстой сидел неподвижно, смотрел, не мигая, мутными своими раскосыми глазами. Старик говорил, боясь остановиться, боясь замолчать. Лицо старика было бледно, масленка потрескивала.

— Поди сюда, сукин сын. Хвамилие? — Сенсу довольно.

— Старцев прозываюсь. Три сына у меня на войне сгибли, два внука...

— Когда потоп предрекаешь?!

— Егда потоп будет, един бог вестя, но быть — будет.

— Поди сюда, сукин сын! Дыбу ведаешь?..

Открылась железная дверца, вошел гвардии обер-офицер Зотов. Покачиваясь, прошел к табурету, рухнул, положив голову на стол, иknул, вытащил из-за ботфорта штоф, захохотал.

— Што? — спросил Толстой.

— Ноне в сенате, собравшись в консилию, Ягужинский со Скорняковым в каллизию вошли, за сим впу-

тался светлейший Алексашка Меншиков. Ягужинский Скорнякова, обер-прокурора, за волосья оттаскал, а Шафыров с Головкиным да светлейший ворами обзывались!.. Буча. Казус!.. Меншиков побег императрице жаловаться—по старому маниру. Были все зело шумны, после трактамента. Был при сем обер-фискал Мякинин, донес государю,— государь Екатерине Алексеевне говорил:—Меншиков-де в беззаконии зачат, во гресех родила его мать и в плутовстве скончает живот свой, а ежели не исправится, быть ему без головы.— Дебош пошел с трактамента. Алексашка теперь плачет у царицыных ножек — нюхает.

Зотов снова захохотал, рухнул пьяно головой о стол.

— Дурак! — сказал Толстой. — Не зришь-бо монстра сия стоит со словом государевым.

Пьяное, красное лицо Зотова моментально побледнело, вытянулось, соскочили веселость и хмель. Зотов встал, взглянул на Толстого. Толстой трусливо улыбнулся.

— Понеже, ваше благородие...

— Ваше сиятельство!.. — голос Зотова дрогнул.

Толстой трусливо подошел к двери, дернул веревку от колокольца — в подземельи зазвенел глухо колокол. Вбежал солдат.

— Фузель! — крикнул Толстой и обратился к старику. — Поди сюда, сукин сын! Когда...

Его перебил Зотов.

— Иди, егда глаголят! — крикнул визгливо, ударили старику по лицу, бритые губы Зотова ощерились.

Вбежал солдат с фузелью, стал во фронт. Вдруг старики упал на колени, пополз к ногам Толстого, заскулил по-собачьи, заплакал. Масленка чадила тускло и смрадно.

— Сыночик, грахф!.. смилистуйся, не стрели, не стрели, каса-атик!..

Толстой отодвинулся, сожмурил глаза, скомандовал:

— Пли!

Старик завизжал, пополз к углу, фузель сначала дала осечку, затем грязнула, как пушка, метнулся дым, потухла масленка, старики смолк. Солдат поспешно высек огниво. Затылок и ухо старика были разбиты, конвульсивно подергивались ноги. Граф трусливо раскрыл глаза, покойно сказал:

— Повесить сего старика на Фомином острову за кронверком у Татарской слободки на иву, где оный объявился, — для показу.

Когда Толстой и Зотов выходили из застенка и за ними поднялся мост, Толстой шепотом сказал:

— В тайную канцелярию доставлено есть письмо ененрал-адмирала Апраксина, оный пишет: «истинно во всех делах, точно слепые, бродим и не знаем, что делать. Во всем пошли великие расстрои и куда прибежать и что впередь делать, не знаем. Все дела, почитай, останавливаются». Мятеж и разбой.

Над Санктпетербургом стоял туман, густой, как стужа. За рекой, должно быть, в Астории, гремел оркестр. До дому Зотов не добрался, заблудился, залез в какой-то шалаш и там заночевал. Были в нем тоска и боль.

Утром гвардии офицер Зотов получил приказ отправиться в Московской провинции коломенский дистрикт комиссаром, «дабы ввести добный анштальт». Зотов три дня пьянствовал и ускакал на перекладных, с государевой эпистолью: вопросы «коммуникации» не принимались в расчет, когда скакали по указу государеву.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сейчас же за Санктпетербургом, отскакав от него верст восемьдесят, переправляясь под Тосной на пароме через реку, гвардии обер-офицер Зотов почувствовал, что он в настоящей, подлинной, древней России, что в Рос-

ции Великий пост, над Россией русская наша обильная, тихая, благодатная весна.

Тракт от Санктпетербурга то Тосны напоминал военную дорогу, валялись людские и конские скелеты, поломанные возки, рубленый лес. На Тосне перевозчики говорили о разбойниках, напавших регулярным строем,— и Зотов не мог понять, говорится ли это просто о разбойниках или о царских солдатах. За Тосной, около корчмы, на лугу в грязи валялись кандалники и работные людишки: тут их брили, дабы не попались они бородатыми на глаза государю. Закат был багряным, весенний ветер ласкал тихо, земля, родящая, разбухла обильно. В корчме подали постное. За рекой звонил великопостный колокол. За открытым окном кто-то тоскливо пел:

А и Петра, что щелканище,
С князей брал по сту рублей,
С бояр по пятидесяти,
С крестьян по пяти рублей.
У кого денег нет —
У того дитя возьмет.
Укого дитя нет —
У того жену возьмет!
У кого жены нет —
Того самого с головой возьмет!..

Вечер пришел тихий и ясный. Над рекою летали стрижи, купаясь в тихих, красных вечерних лучах.

Над землею творилась весна, творился Великий пост,— и Зотов почувствовал остро, — что если в Санктпетербурге, за разгулом, воровством, жульничеством, жестокостью, за лихорадками и туманами, хоть глупая, но все же была мысль стать подобным европейской державе, — то за Санктпетербургом, в огромной России были единные разбои, холуйства, безобразие и бессмыслица. Два

раза измененное местное управление, налоги, подушная, расквартировка по селам полков, натуральные поборы, наборы, солдатчина, — все спутало, перепутало, затуманило здравый смысл. Комиссары, земские и военные, ландрата, ландрихтеры, кандидаторы, провиантмейстеры, губернаторы, воеводы — мчались по своим дистриктам и провинциям, загоняя, в зависимости от аллюра и чина, тройки или шестерки, взыскивали, пороли, вешали, — бритые, похабные больше, чем татарские баскаки, похабничающие спянина надо всеми со всеми. Крестьяне боялись, как чуму, новую эту бритую бюрократию, всегда пьяную и говорящую на помеси русско-немецкого языка. Вырастало целое поколение, и было знаемо, что Россия все воюет — с турками, со шведами, персами, сама с собою — с Доном, Астраханью, Заволжьем. Набор шел за набором, налог за налогом. Тащили с церквей колокола, обкладывали податью — хомуты, бани, борти, гроба, души. Шли недоборы, нехватка рук, голод, блудили солдатки, — солдаты, убегая, приходили зараженные сифилисом, пьяные, забитые, озлобленные, жили разбойниками в лесах. Старая канонная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями, — казалось, — замыкалась, пряталась, — затаилась на два столетия.

В одной деревне, уже за Мстой, в Валдае, к повозке Зотова бросилась баба, закричала безумно, запричитала:

Охти мне, да мне тошнешенько!
Кабы мне да эта бритва навостренная,
Не дала бы я злодейской этой нечисти
Над моим сыночком надругатися!..
Распорола бы я груди этой некрести,
Уж я выняла бы сердце то со печенкою,
Распластала бы я сердце на мелки куски,
Я нарыла бы в корыто свиньям месиво,
А и печень свиньям на угощение!

— Што орешь, монстра волосатая?! — отозвался Зотов.
Баба бросилась под колеса, завизжала:

— Пори мои грудыньки, коли мои глазыньки,— отдав мово дитеньку-у!.. Будь мое слово выше горы, тяжелее золота, крепче камня Алатыря... Чорт страшный, вихорь бурный, леший одноглазый, чужой домовой, ворон вешний, ворона-колдуныя, Кощей-Ядун, — лютый антихрист Петра-а-а!.. А придет час твой сме-ертный!..

Деревня лежала на склоне холма, росли клены, избы были под соломенными крышами, хмуро, слепо грелись на солнце. Был полдень, весенний жар. Звенели жаворонки. Была весна, кричали грачи, вечерами токовали в лесах глухари, совы кричали, филины ухали, дули вольные ветры, полошились реки, мужики собирали бороньи сохи, пели девушки на косогорах. — Баба вопила долго, пока не скрылась деревня, пока не встал впереди на горе белый пятиглавый монастырь. Кругом под небом были леса, поля, суходолы.

За Москву, в коломенский дистрикт гвардии офицер Зотов прискакал на страстной и сейчас же поскакал по уезду. В великий четверг, к вечеру был у Погоста Белые Камни на местных солдатских квартирах. Верно, мужики и солдаты были предупреждены, потому что солдаты, очень оборванные и небритые, встретили его барабанным боем и подали рапорт, а мужики, очень испуганные, — хлебом-солью и челобитной. Гвардии офицер Зотов остановился на съезжей, «дабы добрый анштальт внести», — но к нему пришли священник и местный дворянин Вильяшев, просили притти ко всемоющей и затем к священнику разделить вечернюю трапезу.

Белая, ставленная из известняка, церковка стояла на холме, над Окою, за нею лежали леса, луга, вечный простор. Слюдяные оконца смотрели в землю, со стен глядели темные строгие лики. Зотов давно уже не был

в церкви, в Санктпетербурге церковное служение было увеселением, — поразили суровость, простота, благочиние. Стоял со свечою неподвижно. Обищавшие, оборванные мужичонки молились истово, бесшумно. Свечи под сводами горели неярко, служба была долгой. Из церкви вышли, когда уже стемнело, атласное синее небо вызвездилось четкими звездами. На лугу у реки кричала медведка, перекликались во мраке на полях коростели, издалека доносилось чуфырканье глухарей.

В избе священника стены мазаны были глиной, горела лучина, священник принес меду, черного хлеба и ключевой воды. Сел напротив, расправил бороду, — Зотов заметил, что лицо священника утомленное, в глазах тоскование, боль и — вера, священник был высок, уже немолод, держался строго, покойно. Вильяшев, в однорядке, с бородой, стал у печки, в тени.

— Чем богаты... — сказал священник, — в Санктпетербурге-городе, чай, новостей зело много...

Зотов поставил эспадрон свой в угол, поклонился, сел, заговорил.

Разговор их был недолог.

— Отбыв из парадиза, поражен весьма был скучестью народной, ибо кругом стон, вопль, мздоимство и дебошанство.

— Та-ак, — в один голос сказали и священник, и Вильяшев.

— Государь его величество наречён императором. В Санктпетербурге викториальные торжества. Шляхетство есть без всякого повоира и в концилиях токмо спектакулями суть. Его величество правит без резону, по бизарии своего гумору...

— Та-ак... Темно ты говоришь, барин... Та-ак... — священник помолчал, поправил темную свою рясу и крест на груди. — Вкуси меду... А правда ли, глаголят, что

государь чудит, как юродивый, — молится на шутейшем, пьянейшем соборе чубуками, уду подобными, крестом никоновым сложенными?.. Правда ли, что государь на блядюшке Меншиковой женат и паки имеет гарем, по тюркскому обычаю?.. А знаешь, что солдаты здешние квартирный весь народ, мужиков, — всех батогами перепороли, за бабенку распутную... Знай!! Погоди. Знаешь, что в песни поют, — «это не два зверя собрались, — народ поет, — это правда с кривдой сохватились, про между собой они дрались-бились... Кривда правду пересилила. Правда пошла на небеса, а... — а кривда харею немецкой рыщет...» Знай!! знай, что не царь у нас, но антихрист, — головой запрометывает, падучий... На бани, избы, гробы, хомуты — подать?!

— Государя моего поношение слышать аз некопабель, — нерешительно сказал Зотов.

Его перебил священник, — встал, левой рукой взял крест, правую поднял.

— Погоди. Отец мой в оный болотный город пошел, правду искать, — не слыхал про Тихона Старцева? — отец мой...

— Поношение государя моего слышать аз некопабель, — сказал Зотов грозно и — стал краснеть, упорно, кумачово, плотное его лицо, бритые губы покрылись потом. Встал, смял кулаки. — Поношение государя моего...

— Тихон Старцев... Старцев — не ведаешь?.. Али — с волками жить — по-волчыи выть?..

— По-волчыи выть? — переспросил Вильяшев.

Гвардии офицер Зотов, пряча огромные свои кулаки назад, попятился к двери, захватил эспадрон и вышел поспешно, стукнувшись лбом о притолоку. Вслед ему крикнули:

— По-волчыи, — а?!

Над горизонтом меркнул последний пред Пасхой, красный, скорбный диск луны, были тишина и мрак. Кричала под горой у Оки медведка. Церковь, вросшая в землю, крестом уходила в небо. Зотов набил трубку, высек искру. В смятении, в воспоминании об отце своем (шутейший, пьянейший собор...), о Тихоне Старцеве — то же отце, о Петре, о России, от которой он оторван был уже навсегда и которую любил, как мать, утерянную в детстве, — он понял, что, что бы он ни писал в свой журнал, — он обречен быть по-волчьи, скунить, как те волки, что Петр травил на Мистуле-Елагином острове.

Шла страстная ночь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Человек, радость души которого была в действиях. Человек со способностями гениальными. Человек иенормальный, всегда пьяный, сифилит, неврастеник, страдавший психастеническими припадками тоски и буйства, своими руками задушивший сына. Монарх, никогда, ни в чем не умевший сокращать себя — не понимавший, что должно владеть собой, деспот. Человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, до конца жизни не понявший ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Маньяк. Трус. Испуганный детством, возненавидел старину, принял слепо новое, жил с иностранцами, съехавшимися на легкую поживу, обрел воспитание казарменное, обычай голландского матроса почитал идеалом. Человек, до конца дней оставшийся ребенком, больше всего возлюбивший игру, — и игравший всю жизнь: в войну, в корабли, в парады, в соборы, иллюминации, в Европу. Циник, презиравший человека и в себе, и в других. Актер, гениальный актер. Император, больше всего любивший дебош, женившийся на

проститутке, наложнице Меншикова, — человек с идеалами казарм. Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом. С годами на круглом, красном, бабьем лице обвисли щеки, одрябли красные губы, свисли красные — в сифилисе — веки, не закрывались плотно; и из-за них глядели безумные, пьяные, дикие, детские глаза, такие же, какими глядит ребенок на кошку, вкалывая в нее иглу или прикладывая раскаленное железо к пятаку спящей свиньи: не может быть иначе — Петр не понимал, когда душил своего сына. Тридцать лет воевал — играл в безумную войну — только потому, что подросли потешные и флоту было тесно на Москве-реке и на Преображенском пруде. Никогда не ходил — всегда бегал, размахивая руками, косолопя тонкие свои ноги, подражая в походке голландским матросам. Одевался грязно, безвкусно, не любил менять белья. Любил многое есть и ел руками, — огромные руки были сальны и мозолисты.

В Санктпетербурге, в пасхальную ночь, в начале четвертого часа пополудни пущена была у Зимнего дворца ракета, и по этому сигналу запалили в Петропавловской и Адмиралтейской крепостях из пушек. На Кайвусарий-Фомином острове, в Троицком соборе, стали благовестить к заутрене, заиграл орган. Государь, государыня императрица, министры и вельможи, по регламенту, Пасху встречали у Троицы. Петр был в черном сюртуке с роговыми пуговицами, в ботфортах, пел негустым своим баритоном на клиросе: — заутреня была задержана, ибо государь с вечера задремал. Когда пошли кругом церкви с крестами и хоругвями, Петр удалился распорядиться фейерверками: обер-фейерверкмейстер Демидов зажег ма-сленки на огромном двуглавом орле, и из орла вылетела ракета, ударила во льва, зажгла его, лев рявкнул глухо и

разлетелся на куски: это означало, что орел — держава российская — победила льва — короля шведского, исконного врага, уничтожил львиные его замыслы. Запалили из пушек. Ночь была темная, безветреная, моросил дождь. За Кронверкским плацем, за Гостиным двором, на Татарской слободке, около своих юрт, около ивы с повешенным, лежали на земле в страхе киргизы и калмыки, пораженные орлом и львом. Пушки палили всю ночь. Еще с полночи поднят был штандарт. Мужчины христосовались губным целованием, а с дамами указано было христосоваться целованием руки. Тотчас после литургии перед церковью выстроились литаврщики, трубачи, гобойсты, барабанщики, приветствовали государя и пошли во главе шествия к Неве, чтобы на галерах переправиться в Летний сад, на Перузину-остров, где назначено было гуляние. Нева разбухла, щетинилась беляками, была пустынной, на кораблях горели тусклые фонари, пересвистывались дозорные.

Вечер пред пасхальной заутреней государь провел в Италианском дворце, в рабочем своем кабинете. В комнате почти в уровень с головою растянута была парусина: государь болезненно не любил высоких комнат. На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом, водкой и сыростью. По углам, на столах, на подоконниках, в пыли, валялась всякая рухлядь, глобус, астролябия, фузели, модель корабля, ботфорты, стояли верстак в стружках, походная неудобная кровать. На полке рядами расставлены были в банках монстры и раритеты, заспиртованные уродцы людей и животных, тщательно собираемых Петром для куншткамеры, по указу — «о приносѣ родившихся уродовъ, такожъ найденныхъ необыкновенныхъ вещахъ, понѣже извѣстно есть, что како въ человѣческой породѣ, такъ и въ звериной и птичей случается, что рождаются монстры». Петр сидел у сэла и,

октет сдвинув на сторону бумаги, списывал из «Приклады, како пишутся комплименты» поздравление в Москву, Ромодановскому, сидел сгорбившись, в колпаке, в нижней одной рубашке, пропотевшей подмышками и заплатанной. У дверей вытянулись денщики, смотрели по сторонам, как пристяжки.

Государь писал:

Высокопочтенный господинъ.
Во исполненіе моєї чадской должності не могу оставіть при начатії Божію милостію св. Пасхи, вамъ всякаго блага желать, да подастъ милость Всемогущаго, дабы вы, господинъ, не точю сей, но и многія последующія годы...

Не дописал, должно быть в расчете, что письмовник есть в Москве. Подписался:

Вашива Величества нижайший раб.
Kneeb Piter Komandor.

В комнате прохрипела кукушка. Петр откинулся от стола, сказал:

— Слыши?

Полубояринов налево кругом вышел из комнаты, вернулся со стаканцем водки, огурцами и кислой капустой на подносе. Орлов расставил шахматы, двинул королевской пешкой, — тот Орлов, из-за которого погибла любовница Петра, Мария Гамильтон. Петр не был ревнив, охотно делил своих любовниц с друзьями. «Френская девка» Мария утешалась с денщиками государя, с Орловым, — но она — любила Петра, государь ее казнил. Государь был при казни, он около эшафота попрощался с Марией, обняв ее. Она была в белом платье с черными лентами. А когда палач отрубил голову, Петр поднял ее и наглядно разъяснял присутствующим анатомиче-

ское строение горла, затем поднес голову к своим губам, коснулся мертвых губ губами своими, которыми раньше — девушку — целовал иначе, — перекрестился и ушел, — побежал на верфь, косолапая, размахивая руками, без шляпы, как всегда в теплую погоду.

Государь выпил водку, съел огурец, выдвинул тоже королевскую пешку, черного офицера, коня. Коню удалось взять в вилку туру и королеву, — Петр громко захохотал. Но партии доиграть не удалось — пришел прибыльщик и прожектер, царский писатель, Митюков. Стоял около привозистой дверцы, постный, елейно кланяясь, в костюме напрокат, в парике, из-под которого торчали собственные рыжеватые волосы.

Петр сказал:

— Guten Abend.

Митюков закланялся, как флюгер от ветра.

— Прими ла плас, — сказал Петр. — Место прими.

Тот сел на кончик стула, положив руки на колени. Из-за чужого ботфорта, который был велик, торчала грязная портнянка.

— Говори измыщление свое.

— Ваше царское величество! Век служить тебе восхотев...

— Не мне, а государству, понеже сам служу, почав с первого Азовского похода бомбардиром. Говори сенс. Мужичонко глубоко передохнул.

— Како обложены суть людинки померными налогами, хомутейными, шапошными, пчельными, там, банными, брадобрейными, — измыслил аз обложить весь народ курильным налогом, дабы курили все табак, а кто не восходит, должен дань платить, смотря по чести и чину.

Петр наклонился к Митюкову, взглянул дикими своими глазами в затрепетавшие его глаза, расхохотался, крикнул:

— Орлов!

Орлов вырос у стола, руки по швам.

— Посадить оного сего человека в камору и приставить дозорщика, дать ему трубку, дабы курил он в ночь канунер без останова. Смотреть неотлучно. Ежели стошнее будет — вытолкать в шею, двадцать батогов дав, ежели осилит, дать бумаги поутру, дабы писал проэцию к вечерней моей аprobации.

Митюков обмяк, посерел, упал в ноги. Орлов схватил его за плечи и потащил в глубь комнаты к потайной двери. Петр хохотал весело, проводил до двери, заложив руки назад.

Полубояринов снова принес водки, государь вышел. Сел к столу, читал. Свечи горели тускло, чадили. Среди задряганного стола, где валялись корки, карты, бумаги, пепел, обедки огурцов, около инкрустированной шахматной доски, лежала огромная, мозолистая рука Петра, с ногтями на манер копытец. Петр сидел в тени. Вскоре пришел Орлов, доложил:

— Оный Митюков блюет, ваше величество.

Петр не ответил. Орлов взгляделся. Государь склонил сильно волосатую свою бабью-красную голову к спинке кресла, полуоткрытые глаза смотрели стеклянно, — государь спал. Захрапел тонким бабьим присвистом. Орлов стал во фронт, стоя заснул. Легла тишина, храл государь. Как раз под государевым кабинетом в подвале блевал судорожно Митюков.

Утро пришло бледное, немощное, пустынное, — такое же пустынное, как осень. В Летнем саду на Перузине-Адмиралтейском острове было гуляние. Государь с утра был пьян. Государем указано было у ворот поставить стражу и никого не выпускать из сада до полуночи. Сад, построенный на заграничный манер, с чахлыми деревьями, с павильонами к Неве, с фонтанами, с охотничими

домиками, острокрышими, крытыми черепицей, как голландские хибарки. День пришел серый, холодный, пустынный. Трактамент назначен был под открытым небом. Маршалом был государь. По аллеям пошли гвардейцы с ушатами сивухи и крашенными яйцами, царским подарком, поздравляли ковшом водки. Мужчины поместились за длинными узкими столами — в главном павильоне, дамы отдельно — у фонтана за Статуйной аллеей. Государь ел и пил стоя, по чину маршала остатки от тарелок выливал на голову дуре-княжне Голицыной. Перешивались быстро. На женской половине в питии не отставали, вскоре оттуда понесся визг: это императрица в припадке нежности (нежности ли? ненависти ли?) щекотала новую государеву галантку, фрельскую девку, Румянцеву, — та брыкалась, визжала, остальные хохотали. Были женщины в нескладных, дорогих, домошитых платьях, не похожих ни на русские, ни на заграничные, — разве на костюмы голландских разбогатевших мещанок, жен матросов, весело гулявших без мужей. Прически у женщин порастрапались, дородные лица вспотели, порасплюзились платья на сытых толстых телах. Запели визгливо разухабистую застольную, как поют, когда рубят капусту. Государь пьянел, мутнел медленно, приметил, что князь старик Трубецкой, склонный к старине, взял тайком вторую порцию сладкого, — закричал, призвал гвардейцев, раскрыл насильно рот старику и пичкал — в припадке — желе, пока у того не закатились глаза. Грязнула музыка к танцам, офицеры вскачь бросились на дамскую половину, женщины завизжали, сбились в кучу, мужчины заигрывали, толкались, хватали — с пьяна — за груди, пьяно топтались на месте в менуэте. Ягужинский, галант французский, подрался со своей новой женой. Иные из стариков уже спали, свалившись под столы. Попы мирно допивали остатки, попахивая

кислой капустой. Новый князь-папа Бутурлин в малом павильоне благословлял орлом и удоподобным своим крестом. Государь командовал лакеями, готовил буфет с охладительными и ушаты с водой для отливания омертвевших, новый сюртук его с роговыми пуговицами давно уже был засален и выпачкан в песке. Петр заходил ко князю-папе, выпил большого орла, прошел на танц-пляс, мутно поглядывал кругом, нахмурился, на глаза попалась Румянцева, по дряблым губам побежала улыбка, глаза с отвислыми веками стали буйными, — подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки и, на бегу закидывая ее юбки и раздирая на ногах белье, побежал к охотничьему домику на верейке, уплыл в него, крикнул императрице:

— Катька! дура! экземпель! Повелеваем пребыть в сиянсе.

Румянцева вышла через несколько минут, красная, потрепанная, поправляя платье, похожая на потоптанную курицу. К ней подошла императрица, зашептались.

Государь вызвал к себе на озеро Толстого. Сидел на столе, поставив тонкие свои ноги в чулках на диванчик, без сюртука, мутно улыбался. Толстой стал у двери, посматривая осторожно раскосыми своими немигающими глазами.

— Петья. Ваше превосходительство... Раритет!.. Известно всем есть, что Ивашка Мусин-Пушкин батюшки моего государя сын. Моего отца признать не мочен, — бают, Тихон Стрешнев али дохтур. Понеже есть ты, ваше превосходительство, начальник тайной канцелярии, дозвать сие неотложно, обополы, без всякого предика.

— Слушаюсь, батюшка.

— Кабель! Не батюшка, а — император... Понял?.. Понеже иного дела не имеете, точию одно правление, которое ежели неосмотрительно делать будете, то перед богом,

а потом и здешнего суда не избежите... Погоди. На Фомином острову пойман был раскольник, предрекал онъят потоп и мою подмену. Где онъят раскольник?

— Казнен, ваше величество.

— По чьему указу? каковы циркумстанции? Когда потоп предрекал?!!

— Не сказал, ваше величество. Гвардии офицер Зотов при сем был, возмущен был словесами. Из фузели... — немигающие глаза Толстого быстро замигали.

Петр встал, судорожно натянувшаяся правая нога откинулась назад, лицо обезобразилось судорогой, подбородок свернуло к плечу, глаза смотрели дико, беспомощно и больно.

— По чьему указу? какими регулями? — бунт? — Толстого четвертовать. Зотова на дыбу!..

Толстой шмыгнул из двери, не заметил лодки, бросился в воду, кричал императрице:

— Матушка, — томен!..

Екатерина поплыла к Петру. Петр стоял, размахивая руками, подбородок его судорожно склоняло налево, сажало на плечо, глаза были дикими и беспомощными, как у ребенка. Одна Екатерина могла его успокаивать в такие минуты. Взяла обеими руками голову Петра, прислонила к груди, почесывала тихо за ушами. Села, посадила около государя, прислонила голову его к обильным своим коленам, почесывала. Государь заснул беспомощно, как ребенок.

На пустынной Неве, широко разлившейся и холодной, катались на яликах матросы. Негусто трезвонили на редких колокольнях. На Васильевом-Хирвисари острове, на самой стрелке, где торчали редкие сосны, работные людшки, парни и девки водили хороводы.

Пошел дождь. Вельможи прятались по павильонам и беседкам, ибо у ворот стояла стражка, которой указано

было не пускать никого с трактамента до полуночи. Нева ощетинилась, холодно обвеивал мокрый ветер. Шел серый, сырой, болотный санктпетербургский пасхальный день.

У Николы, что на Белых Камнях, в тот день шли широкие, теплые ветры. Над землею, над полями, лесами, суходолами, поемами, реками, — русскими нашими, — творилась весна, великая земная радость. Обильное солнце поднялось красно и радостно. В светлый день пели девушки веснянки. У Николы, под солнцем, и ночью до нового солнца пели девушки. Красными сарфанами одевались утренние зори, болотными купавами меркли зори вечерние. Пели девушки:

Оболокусь оболоками,
Подпояшусь красною зарею,
Огорожусь светлыми месяцами,
Обтычусь частыми звездами, —
Освечусь я красным солнышком!..
Ой, ударь ты, гремучий Гром, огнем-полымем!
Разогрей ты, громова стрела,
Нашу матушку, Мать-Сыру Землю!..

Девушки пели тогда, чтоб пропеть два столетия.

Никола-на-Посадьях —
Починки под Богородском,
май 1919.

САНКТ-ПИТЕР-БУРХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Столетия ложатся степенно, колодами. Столетий колоды годы инкрустируют, чтобы тасовать годы векам — китайскими картами. — «Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны». — Как же столетьям склоняться—пред столетьями?—они знают, из чего они слиты: — недаром по мастям подбираются стили лет. «Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошел здесь, отправляясь на войну с монголами, приверженцами династии Юань, изгнанными из Китая его отцом Хунвью». — Это высечено на глыбах белого мрамора:—Юн-ло—оправдал ли годы свои сей надписью, ибо больше ничего от него не осталось?—И там же, «в тринадцатый день второй луны», в тысяча шестьсот девяносто шестом году по европейскому летосчислению пришел император Конси, чтобы уморить голodom в Шамо и лошадей, и солдат. Шамо значит то же, что Гоби: Шамо — есть Гоби, пустыня. И поелику на белой мраморной глыбе есть надпись, истории сохранено имя деревни—Судетоу.—В Судетоу родилась его мать, и ей не коверкали ног с восьми лет, как аристократам, ибо она была плебейка.

Столетия ложатся степенно, — колодами: — какая гадалка с Коломны в Санкт-Петербург кидает картами так, что история повторяется,—что столетий колоды—годы

Повторяют и раз, и два?!—Две тысячи лет назад, за два столетия до европейской эры, император Ши Хоан-Ти, династии Цин, отгородил Империю Середины от мира — Великой Китайской стеной, на тысячу ли,— Ши Хоан-Ти, коий сверг все чины и регалии, всех князей, нанеся сим «смертельный удар феодализму», и, став — богдыханом,— как царь Петр в династии Романовых «прорубил окно» и стал: императором лишь, — не успев состариться до богдыхана.

Первый Петр в династии Романовых и первый император Российской Равнинны, Петр Алексеевич сын Романов, однажды, в парадизе своем Санкт-Петербург, пропьянистовав день у сенатора Шафырова в «замке» на Кайвусари-Фомином острову, направлялся в ботике по реке Неве на Перузину-остров, в трактир Австерию, дабы допьянистовать ночь. Ладожские льды к сему времени прошли, навигация открылась, и император узрел непорядок: несмотря на тихий простор реки, на белесую ночь и на белесые звезды в небе, баканы на реке Неве не были зажжены и на Васильевом острову не горел маяк. Петр сидел у кормы, пьяно молчал и пьяно воскрикнул, наполняясь злобой и буем:

— Каковы циркумстанции?.. Каковы циркумстанции?!. Ка-ко-вы циркумстанции!..

На Неве-реке было весьма тихо и пустынно, и сенатор Шафыров, прежде чем взглянуть в бабы глаза императора, окинул чишиным взором окружность. Рыгнул пьяным кулем корпуса своего:

— Ваше величество, служить готов...

— Ка-ко-вы циркумстанции?.. Паки и паки даны суть указы коммуникации устройства,—и паки и паки на маяке и на баканах огня не зрю, вопреки регламенту, коим указано с правой стороны красные огни жечь, а с левой зеленые, для указания фарватера!

Шафыров сказал:

— Ваше величество... поелику ночи суть светлые и звезды на небесах...

Император отвечал:

— Ваше сиятельство... Поелику небесные светила зажжены суть господом богом, служат оные богу и по сему человекам не подвластны. И sondern. Како огни на маяке зажжены суть рукою человека, посему—служат оные человеку!.. Ка-ко-вы циркумстанции?..

Первый император, Петр Алексеевич, с пьяным Шафыровым, кулем свалившимся в бот, так и не доплыл до Австрии в ту ночь, «ходя», как говорят моряки, на боте — по баканам, выколачивая на баканах дубинкою своей со спин баканчиков красные и зеленые огни, выколотив буем в себе хмель. И он был прав, император Петр, поелику огни, зажженные рукою человека, имеют человеческий смысл как водители, — ибо на рассвете в ту ночь наполз на Санкт-Петербург студений туман и заволок — и звезды, и огни на баканах, — но могли наползти только облака, заморосить дождем, тогда исчезли бы звезды и остались бы одни огни, зажженные рукою человеков.

Конфуций сказал сие:

«Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны».

...Каменная стена идет по холмам, чтоб потеряться вправо и влево из глаз. Время уже разъяротило каменную стену, здесь шли и Ши Хоан-ти, и Юн-Ло, и Тамерлан, и многие, и под стеною, где всегда взблескивали ящерки, растет белая крапива рами. Камни, небо, пустыня; на запад — Китай, на восток — Монголия, страна Тимуров. Разве он знал тогда, что вон там, за Гоби, за Алатау, за Туркестаном — вторая есть Империя Середины?.. У речонки Сайхе, в лессе, изрытом людьми, как ласточками,

и пропахшем человеческой грязью и потом, он родился и жил. Над головой на лессе его отцы сеяли гаолян и сарго, трудясь муравьями — на полях, которые можно прикрыть каждое одной цыновкой, — и он, мальчик с женской походкой, выбираясь из мрака лесовых жилищ, бегал с камышовой корзинкой к стене, к Великим Воротам, где по Аргали-дэян шли караваны в Ургу, и там подбирал верблюжий, лошадиный и человечий назем, чтобы снести его к отцам в поле удобрять землю под гаоляном: — откуда, от ворот в стене, уже развалившихся, виден был вдали город Душикау в каменных башнях, тоже уже развалившихся, — и мальчик, отдыхая, потихоньку ото всех, стрекаясь крапивой, ловил ящерок, священных животных, и давил им серебряные их животики, чтобы увидеть, как кишечки поползут изо рта. Отцы приходили с полей к ночи, когда было так же темно, как в лессе, — мальчик научился к тому времени есть уже палочками, а не руками, он уже не ходил совершенно голым, — но он еще боялся пещеры, вон той «к западу, в лессе», куда ходил его отец размышлять в обществе предков о трудах, лучшей смерти и сарго, где хозяйничала старуха и где стояли идолы. Это была ночь, и мальчик спал в углу на цыновке, покрытый прокисшим ватным одеялом. Мальчик — за все свое детство — не видел ни одного дерева, — ибо он жил за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов. Мальчик не знал, из чего делаются идолы.

Потом мальчик узнал, почему нельзя давить животиков ящеркам. Мальчик узнал, что значит труд отцов, что значит руками вспахать землю, руками принести с Аргали-дэян назем, руками охолить каждый куст кукурузы и гаоляна, чтобы не умереть с голода и жить в лессе, — и он научился трудиться. Он узнал о ян, и ин о Двух Силах, — мир, как его отцам, стал перед ним в воле Лао-дзы, для него некогда строилась Великая Стена, ибо Лао-дзы

сказал о Тао, Великом — Равнодействующем. У отрока осталась, на всю жизнь, женская походка, но у него потускнели глаза и стали походить на стершийся сапок, китайскую монету. Отрок, узнавший, что «мир не есть настоящее бытие», все же знал, как сеять сарго, томящее тело, — и он одолел «четыре щу и пять Цзинов», томящих ум. Он изучил «Фонтан знаний и реку, вытекающую из него». Он истолковал восемь гуа, образуемых четырьмя прямыми длинными и восемью короткими, где открывается истинный смысл пассивного ин, что «человек есть продукт природы и потому не должен нарушать ее законов», — и он, как все, кончил Ши-Цзином, книгою од. — И, все же Душикау глядит в Монголию, как Монголия всматривается, усмехаясь Гоби, в Душикау. — Кто знает, что было бы?

Столетья ложатся степенно, колодами: столетий колоды годы повторяют и раз, и два, ибо история — повторяется. Ветхая китайская стена стояла две тысячи лет, — кто знает все пути — всех, и то — почему осудила судьба жить этому человеку вот теперь? Это там, в лессовой деревне — в лессовую деревню приходили из Юн-чжоу, из Цзунни, даже из Пекина нище-богатые люди, ничего не имеющие, что имеют все, — чтобы говорить о И-хэ-дацюан, — о Хун Ден-чжао, — о Ша-Гуй, — о правде и согласии Большого Кулака, о Красном Фонаре, об уничтожении дьяволов, о том, чтобы восхищаться тем, что сарго уже столько-то стоит, а труд дешев, что в Пекине — заморские дьяволы — янгуйзы, как дома, — о том, что императрица (тс! тсс! шш!) — императрица Цзы-Си — продана — блудная старуха — императрица... Они зажигали красные фонари в пещерах, и отец не уходил к предкам. Они сидели у фонаря, и казалось, что зубы у них больше, чем следует, и вставлены. Они уходили с песнями, и отец каждый раз брал его за руку, чтобы сказать, как

зарубить — «об этом никто не знает!» — но в夜里 звенела боевая песнь революционеров.

Тэн-да-тэн мынь-кай.
Ди-Да-Ди мынь-кай!

Кто знал там в лессовой деревне имена — доктора Сун Ят-цена и начальника Нуй-гэ — Юан Щи-кая? — И был день, когда все узнали, что уже нет императрицы Цсы-Си в Империи Середины и не будет Пу-И, — что трехлетний Хуан Чжан Пу-и должен отречься. В тот день никто не пошел на поле, в тот день остановились караваны на Аргали-дзян, — в тот день все было новым, как праздник, и только стена и ящерки под ней были прежними, — в тот день. А потом, и ночами и в дни, шли люди с красными фонарями и с лицами, как плакаты, — с винтовками, саблями, даже с луками, — толпами и одиночками, и военными отрядами через каменную стену в ворота в Шуньтянь-Фу, то-есть Пекин. С ними ушел отец, взяв саблю с драконами у ручки, — саблю предка, которая всегда висела в кумирне. Тогда, правда, стал дорог сарго и не хватало чаю, запертого югом, и кто-то ночью вытаптывал все поля. И тогда вернулся к своим предкам — отец, его голову носили на колу, а тело, сквозь задний проход и то место, где была голова, было проткнуто пикой, двое несли концы пики на плечах, и казалось, что отец ползает в воздухе, как ползал, когда обирали просо, и его долго носили по Аргали-дзян и по кислым улицам Душикау. В те дни многих чтили такой смертью, и родственники тогда должны были бежать, куда глаза глядят, скрываемые теми, которые вчера помогали таскать отцов. Люди с лицами, как плакаты, уже с обрезанными косами, шли и шли в ворота. Кто-то, какие-то поставили над стеной две пушки и стреляли целый день в Душикау и в лесс, — шальной снаряд ударила в плотину на речке Сой-Хе, и труды многих

лет погибли в час, тогда идущие бросились умирать к этим пушкам, и кости с разинутыми ртами мертвых голов повисли надолго в сыром полумраке ворот. И тогда настала «великая ночь Крови и Смерти» — 19-я ночь шестой луны — и пришла последняя весть: трехлетний Хуан Чжан — желтейший повелитель — Пу-И, — отрекся. Тогда люди пошли — из ворот.

Он — имя его Ли-Ян — ведь он же был в Душикау и в Пекине, это он ничего не понимал, обыватель. — И тогда он бежал сотни ли, через Монголию Тимуров, на Ургу, на Кяхту, чтобы спутать в памяти Владивосток, Порт-Саид, океаны. Он проходил мимо белых мраморных глыб, где высечено о том, что «Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошел здесь, отправляясь на войну с монголами, приверженцами династии Юань, изгнанными из Китая его отцом Хун-Ву», — о том, что здесь умирали солдаты и лошади императора Конси. Но он не знал этого, он думал тогда лишь о том, что отсюда, из деревни Судетоу — его мать: его мать здесь ловила ящерок маленькой, — его мать, которую он бросил, как женщину. И вместе с ним шли десятки других, потерявших,бросивших — и отцов, и матерей, и братьев, и отечество.

«Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны».

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою». Петр — есть камень и заштатный град Санкт-Петербург — есть Святой-Камень-Город. Но — определение должно быть только в одном слове: Санкт-Петербург определяют три слова — Святой-Камень-Город, — нет одного определения, — и Санкт-Петербург посему есть фикция. Но — на Неве-реке, пустынной, как Иртыш, все

же лежал город, поистине, гранитный. Каменный город — и заштатный, и потому уже, что каменный и заштатный, не русский, конечно, ибо все русские заштатные города рыхлы, как бабы, засорены подсолнечной шелухой, пахнули селедочным хвостом, в скамьях с пестрыми юбками баб, рыхлых, как заштаты, — и все заштаты умирали навозной смертью. Перспективы проспектов Санкт-Петербург-Бурха были к тому, чтоб там в концах срываться с проспектов в метафизику. — И в тот день, в обыкновенный — финляндский — денек, на Неве-реке, пустынной, как этот финляндский денек и как Иртыш, долго гудел один-единственный катерок, отбрасывая эхо от Дворцов, от Биржи и Петропавловки, много эхо, как всегда в Позовьи, — и тогда с Троицкого моста в перспективы проспектов ушел автомобиль, чтоб кроить перспективы, чтоб начать рабочий день человека и чтоб сорваться в конец — в концах проспектов — в метафизику. — Есть поэзия камня и тишины. Финляндские дни одевают гранит мхом, зеленая травка пробила гранит: — на Невском проспекте в торцах поросла зеленая травка. Дворцы стали тогда мертвцами-музеями, — и разве не памятник, как Петру у Адмиралтейства, — памятник заштатов — дом, развалившийся на Гончарной? Поистине есть красота в умирании, и прекрасен — гранитный — был город, в пустынном граните, в мостах, в перспективах, в развалинах, в бурьяне заштатов, в безлюдии, в гулких эхо на пустынной — поозерной — реке, в обыкновенных — не русских — финляндских днях. А там, где столпились улицы из городков Московской губернии, на русской, на московской стороне, в переулочке, на перекресточке, — у дома в два этажа все окна выбиты были, нежилой дом, покинутый, магазин был внизу, и видно было сквозь окна открытую внутреннюю дверь в пустырь за домом, — в магазине паутина повисла, кирпичи валялись и стекла...

«Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою».

По Великой Европейско-российской равнине прекрасная прошла революция. Сказания русских сектантов сбылись, — первый император Российской равнине основал себе парадиз на гибких болотах — Санкт-Петербург-Бурх, — последний император сдал императорский гибкий — болот — Санкт-Петербург-Бурх — мужичьей Москве; слово Моск-ва значит: темные воды, — темные воды всегда буйны. Петербургу остаться — сорваться с прямолинейной — проспекта — в туман метафизик, в болотную гарь, в туман, в наваждение. Тот же финляндский денек обещал быть к ночи — туманною ночью, уничтожить прямолинейность проспектов, затуманить туманом. И автомобилю в тот день кроить улицы, избыть день человека — петербуржца — Ивана Ивановича Иванова, как многие в России. Иван Иванович был братом. Иван Иванович был интеллигентом. Автомобиль скидывал мысли Ивана Ивановича — в Смольном, на Невском, в Горюховую, — автомобиль — каретка — Бразье, где Иван Иванович сидел в углу — в зеркалах — на подушках — с портфелем. Автомобиль вновь ушел в пустыню Невы, как Иртыш, в простор Троицкого моста, чтоб свернуть на подъемный — мост же — Петропавловской крепости, в Петропавловскую крепость, чтобы погаснуть там у собора, у штаба. На соборе, у шпица реял монах. Тогда выстрелила на бастионе пушка, чтоб указать час, чтоб перекинуться мячиком эха дворцам с бастионами. И Иван Иванович долго сидел в кабинете конторы на задворках — вот, в кабинете с деревянными стульями и столом под клеенкой, — и к нему приводили людей из бастионов и равелинов — во имя революционной совести: двум человекам стать друг против друга с двумя правдами, с тем, чтобы одному человеку и одной

правде вернуться в равелин. Из штаба пришел китаец-красноармеец, которого привел тоже китаец-красноармеец, и долго ждал своей очереди китаец-красноармеец, потому что не было переводчика, а в бумагах значились пустяки, что у него, красноармейца, такого-то стрелкового полка Лиянова, найдены были при обыске английские золотые монеты, — и мимо него проходили к столу — говорить или молчать у стола. —

... В доме у инженера, в его кабинете, за ширмой стояла кровать, — и некогда так же стояла кровать у того же инженера в Лондоне. Тогда в Лондоне был подпольный съезд революционеров. И как тогда в Лондоне, встречаясь раз в год, здесь в Санкт-Питер-Бурхе, поздоровавшись, подошел потихоньку к кровати Иван Иванович и стал щупать — простыни.

— Ты что? — спросил инженер.

— Я смотрю, простыни не сырье ли? Не простудись, голубчик!

Они, инженер и Иван Иванович, знали друг друга с детства, с бабок в подлинно-заштатном городишке. У инженера корчили хари в кабинете китайские черти, кость, бронза и фарфор — твердым холодком корчили хари, и было в кабинете холодное венецианско окно, уходившее в белую ночь холодком белых стен кабинета. Инженеру — нельзя было горбиться. — В ту белую ночь у инженера была музыка, были музыканты и гости. Иван Иванович не выходил на люди, сторонился толпы, не любил людей, он сидел в кабинете, один в темноте. И инженер увидел, что Иван Иванович поражен музыкой, — поражен так, как могут поражаться, понимая, лишь избранные: в холодном кабинете, где черти корчили холодно хари, человеческая — настоящая — теплота села в кресло в углу, затомившись оттуда. Инженер тогда сгорбился у окна, в белой ночи,

и Иван Иванович подошел и стал сзади, прислонившись к плечу инженера.

— Я себя чувствую — хозяином на земле, — сказал инженер. — А ты? — Все попрежнему, — гость?

— Да да, гость!

— Петербург — новая архитектурная задача, город без крыш, с катками в верхних этажах... тишина, вымиранье... гость? — в белую ночь в проспекты вглядывался инженер. — Я вчера ел хлеб из оленевого мха. — Гость? — Метафизика?

— Да, гость. Помнишь, в Брюгге, мы шли окраинами. Мы тогда говорили — о мире. Я поехал в Москву: кровь, копоть заводов, руки рабочих, — я провижу столетья! — и гость!.. — Иван Иванович крепко прижался к плечу инженера, инженер сквозь пиджак ощутил теплоту от дыхания. — Какой ты большой, Андрей... В Брюгге такая же тишина... Какая музыка!

— Где?

— Там вон, в гостиной, — пианино.

В ту ночь — там, в туманных концах проспектов, автомобиль сорвался с торцов, с реальностями перспектив — в туманность, в туман, — потому что Санкт-Питер-Бурх — есть тройственно-определенное, то есть фикция, — и все же есть камень. Инженер вышел к гостям и сказал:

— Знаете, кто был сейчас у меня в кабинете, какой гость? — и молчал. — Иванов Иван, — и помолчал, выждав, как имя хлестнет по гостиной. — Музыку слушал, музыку знает, — гость на земле, чорт его знает! — К инженеру беспокойно подошла женщина, оба склонились в амбразуре окна, — там внизу с торцов сорвалась каретка — Бразье, — женщина коснулась нежно плечом плеча, инженера, — такое древнее, такое прекрасное вино, лучше которого — нет: — женщина. Китайские черти — кость, бронза и фарфор — корчили хари.

В доме — дома — Иван Иванович Иванов жил, как — таракан в щели. Он боялся пространства. Он любил книги, он читал лежа. Он не имел любимой женщины, он не сметал паутины. В маленькой комнатке были книги, и ширмы у кровати были из книг, и простыни на кровати были сухие. Автомобиль сорвался в туман. Двери были заперты и заставлены полками книг. В углу, на кровати, Иван Иванович, — лежа, — видел огромную шахматную доску: этой доски не было в действительности. — Мир, дым заводов, руки рабочих, кровь, миллионы людей, — Европа, ставшая льдиной на бок в Атлантике, — Каменный гость, влезший — с громом — с конем на доску: — на шахматной доске. Простыни — сухие, в комнате мрак, и тут в сухих простынях, в подушках — мысль: я! я-а-а! — Каменный гость — водкой: «Ваше превосходительство. Паки и паки Россия влачима есть на Голгофу. Каковы циркумстанции...» Гость: «Никакой России, государь мой, никакого Санкт-Петербурга, — мир!» — Каменный гость: «Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Не пьете?» — «Не пью». — «А за Алексеевский Петропавловской крепости равелин — паки не пьешь?» — «Не пью». — «Понеже и так пьяно, ваше превосходительство! — так ли?» — «Шутить изволите, государь мой, — Алексеевский равелин — я, — я — же!» — В сухих простынях, в жарких подушках, в углу — мысль: я-я-а! я-а-а-а!.. я-я — есть мир!

«Ты еси — Петр.

Китаец стоял в стороне, у китаца лицо, как у китайского черта в кабинете инженера, в кабинете конторы были деревянные стулья и стол под kleenкой. Китаец прошел в сторону — женской походкой, на нем была русская солдатская гимнастерка без пояса. За решеткой окна стоял автомобиль. На лице у китаца были — только зубы, чужие, лошадиная челюсть, он ими усмехался: — кто

поймет? — В конторе на окнах была паутина, стало быть были и мухи. — К столу подходили. Подошел инженер: инженеру нельзя было горбиться.

— «Я утверждаю, что в России с низов глубоко национальное, здоровое, необходимое движение, ничего общего не имеющее с европейским синдикалистским. В России анархический бунт во имя безгосударственности, против всякого государства. Я утверждаю, что Россия должна была — и изживает — лихорадку петровщины, петербурговщины, лихорадку идеи, теории, математического католицизма. Я утверждаю, что в России победит русское. — Алексеевский равелин. — Инженер Андрей Людоговский». — Так было записано в протоколе.

Иван Иванович сказал по-английски:

— Помнишь, Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата...

И тогда на лице китаца: — одни зубы — зубы совсем наружу, все лицо вопросом, с глаз спали сапеки, чтобы глаза — просили: — субординация спуталась, — китаец понимал по-английски. Китаец качался у стола справа налево и говорил — по-английски — все, сразу, что знал, много: — «Я хочу родину! Нуй-гэ Юан Ти-кай, — президент! Я хочу родину!» — Без субординации, в кабинете конторы разорвался кусок — горячего — человеческого!

...Китаца на шахматную доску!.. На набережных, в камнях, трава поросла, финляндские дни одевают гранит мхами: дворцы стали тогда мертвцами-музеями. Петр Первый ушел от адмиралтейства на Гончарную, где развалился дом: дом тогда придавил людей. Автомобиль — мостами, набережными, мост у Петропавловской крепости поднят, — автомобиль, каретка — Бразье, где Иван Иванович — в углу — в зеркалах — на подушках — с портфелем, — автомобиль простором Невы, как Иртыш, и по-озерного неба — простором. В доме — в окне — через

окно — через крыши — через Неву — на взморья — в комнате — красная рана заката. Красная рана заката пожелтела померанцевыми корками, в ж е л т у х е — лихорадке. Ночью будут туманы. Желтуха? — китайца на шахматную доску! — Закат — у м и р а л!.. Где-то далеко одинокий гудел катерок. Книги, книги, книги — в померанцевых корках заката, на полках, и подушки не подсинила прачка. Ночью будет туман. У Ивана Ивановича не было женщины, — опять лихорадка. «Хина, кажется, желтая — хинная корка?» Звонки.

«Принесите черного кофе, покрепче, — покрепче», горничной: горничная-женщина: «надо, чтоб пришла ночью...»

«Помнишь Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата послал расстрелять. Революция не шутит, милый Андрей!» — «Петровщина. Лихорадка, Санкт-Петербурговщина? Мужик голову откусит, возьмет в рот и так: хак! — Нет мужика, нет никакой России, — дикари! Есть — мир!» — К а м е н н ы й г о с т ь: «Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Кофий будете пить?» — «Да, кофе». — «Понеже и так пьяно, ваше превосходительство, так ли?» — «Утверждаю, что коммунизма в России нет, в России — большевики. Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людоговский». — К а м е н н ы й г о с т ь: «Брось, ваше превосходительство! Выпьем за художество! Плевать. Поелику пребываем мы в силе своей и воле». — Г о с т ь: «Погодите, величество. Все есть — я! Слышишь, Андрей, все есть: я! я-а-а-а!.. Милый, Андрей!»

— Останьтесь, Лиза, на минуту.

— Простыни, барин, я просушила.

— Меня знобит, Лиза. Я одинок, Лиза, присядьте.

— Ах, что вы, барин...

— Присядьте, Лиза. Будем говорить.

— Ах, что вы, барин!.. Я лучше попозже приду.

— Присядьте, Лиза.

— Помнишь, Андрей, мы играли в бабки... У меня два брата. Один расстрелян, а другой... — Китаец полез по карте Европы, на четвереньках, — красноармеец Лиянов, — почему у китайца нет косы? Простыни — сухие, на шахматной доске — мир, руки рабочих, дым заводов, Европа — льдиною на бок в Атлантике, никакого Санкт-Петербурга, — китаец на четвереньках на льдине. — И никакой шахматной доски. — «Паки и паки влачимы будучи на Голгофу!..»

— Ты еси Петр и на камени сем я созижду церковь мою: — я-яаа!

— Ах, барин!

...Голубоватый зеленый туман восставал над Невой и окруживал крепость. А над ним, над туманом — апельсиновой корочки цвета — меркнул закат, и в тумане, в желтом закате плавал на шпице над крепостью — черт — ангел — монах, похожий на черную страшную птицу. Крепость в туман уплыла.

...В общей камере — одни лежали с газетами, одни — играли в шахматы из хлебного мякиша. Китаец женской походкой и с ноздрями над лошадиной челюстью, как у проститутки, — с лицом в мертвой улыбке, подходил ко всем, останавливаясь томительно против каждого, долго молчал, улыбаясь и говорил, не то спрашивая, не то утверждая: — «Кюс-но?..» Все понимали, что это значит — скучно... — У волчка стоял другой китаец, страж, — иногда этот шептал в волчок:

— Ни юзы суй? — Сколько лет ты считаешь себе?

— Во эр ши ву. — Двадцать пять, — отвечал китаец из камеры.

И страж тогда говорил строго по-русски:

— Ступай! Нель-зя гово-ри! —

чтобы через пять минут прошептать вновь:

— Ни хао? — Ты здоров?..

Инженер Людоговский — инженеру нельзя было горбиться! — весь вечер играл в шахматы, у стола в скарбе чайников и железных кружек. Шахматы были слеплены из хлебного мякиша. Китайцу безразлично было на чем сидеть, он любил сидеть в углу, на полу и там что-то петь, очень беспокоящее, визгливое, как вой собак от луны.

Инженер Людоговский рассказал:

— После смерти жизнь не сразу замирает в организме. Каждый знает, что волосы и ногти растут у мертвцев в течение нескольких месяцев. Одной из последних замирает деятельность мозга. Мертвец четыре недели после смерти — видит и слышит и, быть может, ощущает во рту привкус гнили. Он не может двинуться, не может сказать. Понемногу стягивают нервы рук и ног — и тогда они вываливаются из сознания, из ощущений. Последним начинает гнить мозг, — и вот последний раз ушная барабанка восприняла звук, последний раз кора большого мозга ассоциировала мысль — о смерти, о любви, о вечности, о боже, больше ведь ни о чем нельзя тогда думать, пред вечностью, тогда ведь нет — человеческих — отношений, — и потускнела мысль — как давно уже потускнели, остеклянели глаза, став — рыбими, — потускнела, развалилась мысль, как развалился, стянул мозг. Вот через глазные впадины впала первый червь, — тогда глаза исчезли навсегда. После смерти идет новая, странная жизнь. Одним это — ужас, а ему — Людоговскому — любопытная мысль. Петербург...

Но инженер не кончил, отвернулся к стене, поднял воротник пальто, не отвечал: инженеру нельзя было корчиться. Никто не говорил. Тогда в углу стал перебирать стеклыши, завыл, как собака при луне, — запел боевую песнь китаец:

Тэн-да-тэн мынь-кай.
Ди-да-ди мыньакий.
Жо-сюэ тэн шень куй.
Во цинши-фу кай.

В волчок прошептал китаец-страж:

— Ни гуй син? — Твое дорогое имя?

На столе в камере на ночь остались шахматы, слепленные из хлебного мякиша. Ночью китаец съел шахматы, слепленные из хлебного мякиша. — А у дворцов на Зимней Канавке из зеленой воды в ту ночь выплывали — в тумане, опутавшем перспективы проспектов, — двенадцать дебелых сестер лихорадок, Катерины, Анны, Лизаветы, Александры, Марии, — императрицы — чтобы поплыть на Неву-реку, как Иртыш-река, к Петропавловской крепости, травку рвать там на граните, цынгу разбрасывать, слушать давний спор Алексея с Петром, стон поэта Рылеева, — марши Николая Палкина, — поозерные сказки выведывать, — чтобы смотреть, как на Неве-реке справа красные горят коммуникационные огни, слева — белые, — чтобы увидеть там в тумане — сквозь туман — из тумана восставшую Великую Каменную Стену, поставленную императором Ши Хоан-ти за два столетия до европейской эры.

— Во гуй син? — Твое дорогое имя? — прошептал волчок.

— Во-син Ли-Ян.

Был час, когда приходили, чтобы вызывать. Китаец подошел к Людоговскому, присел рядом на нарах на корточки, в полумраке выползла конская челость, усмехнулась, скорчила:

— «Кюс-но?..»

Двенадцать сестер лихорадок плыли по Неве, туман пополз в оконца. Тогда загремел замок, чтобы прижать каждого к нарам, притиснуть в тоске: — «вот, ведь я же лежу, я лежу на нарах, я сплю, — зачем? — Я же сплю, — я-а-а-а!.. за что?»

— Красноармеец Лиянов!

— «...Вот, ведь я же лежу, на нарах, я сплю, — не я, нне я-а-а-а, — не меня!»

Красноармеец ушел. Загремел замок, снизив своды, стиснув камеру. — Можно закурить, чтобы не задохнуться. — Хинки бы, хинки, — туман, лихорадка! — Не видно — Невы дно глубоко, где двенадцать сестер. Красноармеец Лиянов — «кюс-но!» — тю-тю!.. — «Столетия ложатся степенно колодами. Столетий колоды годы повторяют и раз и два, чтобы тасовать годы векам — китайскими картами. Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны». — «Как же годам склоняться — пред годами? — они знают, из чего они слиты: недаром по мастиям подбирают стили лет». «Петр — есть камень, и заштатный город Санкт-Питер-Бурх — есть Святой-Камень-Город.

«(Ни) (ты) (один) (еси) (продавец) (Петр)...»
«Хинки бы, хинки!» —
«Кюс-но!..»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПОСЛЕДНЯЯ

— Ибо Санкт-Питер-Бурх — есть: — три.

«Мальчик — за все свое детство — не видел ни одного дерева, ибо он жил за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов».

— В Санкт-Питер-Бурхе, там, где столпились улицы из городков Московской губернии, — Русская, Московская, Серпуховская, — на русской, на Московской стороне, в переулочке, на перекресточке — у дома в два этажа, у нежилого, у покинутого, — сквозь разбитые окна в магазине внизу — видно было открытую внутреннюю дверь в пустырь за домом, — там срублены были тощие топольки. Китаец — своими руками — спилил, выкорчевал тощие топольки. Китаец — своими руками — выбрал все камни и камешки. Дом покинули русские, по-русски загадив: китаец своими руками — собрал весь

человеческий помет, с полов, с подоконников, из печей, из водопроводных раковин, из коридоров, — чтобы удобрить землю. Там, кругом пустыря были кирпичные брандмауэры, на одном из брандмауэров росла бузина. Все камни, жестянки, обрезки железа, стекло, китаец сложил квадратами под брандмауэром, китаец нарыл грядки и на грядках посадил — кукурузу, прессо и картошку. Был серый, финляндский, — поозерный — денек. Китаец встал с желтой зарей — и весь день, за весь день, — каждый кустик, каждую былинку, отогнал, охолил своими руками. И весь день китаец пел боевую, бунтовщинскую китайскую — русскому уху звенящую тоской невероятной — песню:

Тэн-да-тэн мынь кай.
Ди-да-ди мынь кай.
Жо сюэ тэн шень куй.
Во цин ши-фу лай! —

песню, в которой говорилось о том, чтобы — «небо растворило небесные ворота, земля растворила земные врата. Чтобы постигнуть сонм небесных духов, ибо Кулак Правды и Согласия и Свет Красного Фонаря сметут одним помелом. И звезда Чжи-Ююй, обручившись со звездой Ню-Су, помогут им, спасут и охранят от огня заморской пушки». — Был серый денек. Мальчишки соседних домов, которых китаец выгнал из пустыря, где они играли в Юденича и карточное бюро, забирались на брандмауэр, висели на нем ласточками в ряд и кричали:

— Эй, ходя, косоглазый чорт! Кто тебе косу-то отбрил?
— Вот погоди, мы картошку-то слимоним!

Но китаец не слышал их, и в общем мальчишки больше наблюдали за человеком с женской походкой, трудившимся, как муравей, на квадратном своем застенке, — один, всем чужой, желтый.

Был серый финляндский — поозерный — денек. Желтой, как хинная корка, зарей пришел он и хинною коркой ушел. Вечером китаец один лежал в уцелевшей комнатке внизу, — в комнатке пахнуло, как некогда пахнуло в лессе. Китаец лежал с открытыми глазами, с остекляневшим взором, корчась. — Что думал китаец, кто знает? — И в притихшей белой ночи, где-то в соседнем, Можайском, переулке пиликала и пиликала гармоника, и женский голос пел:

Когда б имел златые горы
И реки, полные вина...
Все б отдал за любовь, за взоры...

...А если бы в тот вечер — циркулем на треть земного шара, на треть земного шара шагнуть на восток, через Туркестан, Алатау, Гоби, — то там, в Китае, в Пекине (Иван Иванович был братом!) — в Пекине, в Китае — — —

Белогвардеец, дворянин, офицер императорской армии, эмигрант Петр Иванович Иванов проходил воротами Гэ-тэ-мен, — в подземельи ворот, там, где ходят люди, было темно и сыро, — Петр Иванович свернул налево. По широким квадратам каменных плит, под высокими стенами древних укреплений, у рва, наполненного зеленой водой, а потом по каменному мосту через канал, он пришел до Западных ворот Танг-пъен-мэн; там, по покатому склону дерновой тропинкой он поднялся на стену, на бастионы, в тишину и безлюдье над городом. Какое странное зрелище для глаз европейца! — европеец привык к квадратным громадам серых зданий европейских больших городов, скованных квадратами проспектов. Солнце с темного и голубого неба, светя лучами, отбрасывало лиловые резкие тени от рвов, бастионов, от пла-

танов, сверкало резко в лакированных черепицах крыш и рябило желто-золотистым, яркоголубым, красным, причудливым костром пагод, храмов, киосков, башен, спиралей портиков, срезанных там вдалеке мрачной бурою линией стен и зеленою мутью каналов: — там деловая толпа, — люди — китайский город — купцов, продавцов, плебеев и нищих, гул толпы, крики мулов и ослов. — Здесь, на стене, над городом — безлюдье и тишина. Эмигрант, офицер русской армии, в офицерской шинели с золотистыми погонами (весь багаж) сел у глыбы гранита. Серая офицерская шинель с золотыми погонами — весь багаж офицера! Нету сапог. И лето. Сколько верст или ли (по-китайски!) пройдено было. Офицер прислонился к гранитной глыбе, фуражку с белой кокардой надвинул поглубже, чтобы не рябило в глазах. Здесь, в безлюдье, в солнце и в день — спал офицер русской армии, эмигрант, Петр Иванович Иванов.

К вечеру, в заполдни, офицер шел в толпе между воротами Куанг-дзу и Ша-Ку. Крестьяне с мулов и ослов торговали мясом, дичью, луком, сарго, — и курили хрупкие трубки табака мужчины и женщины, пока не пришел покупатель. Небрежной, неспешной походкой шли с веерами мужчины-джентльмены. Гул и шелест толпы уходил в лиловатое небо. У павильона, где стояла охрана, были врыты столбы с перекладинами, на столбах в бамбуковых клетках — в каждой клетке по голове — лежали головы мертвцев, глядевшие тусклыми, широко-раскрытыми глазами. Офицер остановился, чтобы посмотреть, что осталось от людей: рты были обезображенены веселой гримасой, у всех одной и той же, а зубы — конвульсивно сжаты, а с клеток капала еще свежая кровь, и офицер почувствовал, что его тошнит от запаха свежего мяса. Это было место политических казней. — Там, в конце, у ворот, у стены под каштанами сидели,

стояли, лежали — нищие, прокаженные, фокусники, гипнотизеры, старики. Мимо шли и ехали на людях и лошадях мистеры и миссис. Офицер стал к нищим и, протянув правую руку, запел по-русски:

— Подай-айте милостынку, Христа ра-ади!..

Белогвардец, дворянин, офицер русской армии, эмигрант, брат, Петр Иванович Иванов.

Никола-на-Посадьях.

20 сентября 1921.

НЕМЕЦКАЯ ИСТОРИЯ

I

Марксштадт.

...Без четверти семь утра бьют на кирках и на костелах колокола, и все немцы в Марксштадте, как во всех кантонах и колониях, сидят за кофе. В семь утра бьют на кирках и костелах колокола, и немцы за работой. За колониями — или равнина, или холмы — степь, степь, широчайшие просторы пшеницы, солончаки, ковыль, миражи летом, бураны зимами. На площадях, если это пустыня зноя, в пыльных смерчах немотствуют верблюды, утверждающие «ночь Азии» и «змеиную азиатскую мудрость», змеиношеие, драконоголовые верблюды, покойные, как Азия. Над землей пятьдесят градусов жары по Реомюру. — Без четверти двенадцать бьют на кирках колокола, — жалобный, прозрачный, стеклянный звон, — и все немцы сидят за обедом, чтобы после обеда, прикрыв ставни и раздевшись, как на ночь, спать до трех. Колокола бьют в три, — тогда пьют кофе и вновь работают. В девять последний раз отбивают время кирки и костелы, тогда наступает ночь, и тогда все спят. Рабочий день, колоколом, заканчивается в пять. В гости ходят от пяти до семи, гостям дают медовые пряники с горькой миндальной посреди и рюмку вина. Полы моют каждый день, печь обмазывают известью после каждой топки, дом снаружи обмывают каждую субботу, по субботам же

моют коровники. Непонятно — люди для чистоты или чистота для людей. У каждой хозяйки на все свои туфли: все они стоят у порогов: в одних она ходит по двору, других — в коровнике, в третьих — по кухне, в четвертых — по «воонунг-циммерам»; у порогов ловко шмыгают хозяйки из одних туфлей в другие, немки в чепчиках и в белых передниках...

Доктор Пауль Рау, — археолог, — нашел в этих степях памятники неолитической эпохи — памятники человечества, отодвинутые от современности на десять тысячелетий. Здесь Паулем Рау найдены были остатки бронзовой эпохи, протекшей между четвертым и третьим тысячелетиями дохристианской эры. Третье, второе и первые тысячелетья — не сохранили памятей. От первого до второго века христианской эры здесь были сарматы. Около рождества Иисуса Христа здесь были скифы. Между третьим и четвертым веками здесь были аланы, лучшая эпоха этих земель, люди европейского черепа, ушедшие отсюда на Кавказ и в Европу. За аланами — вновь пустыня, до тринадцатого века татар. За татарами — от пятнадцатого столетия до века российской Великой Екатерины — опять пустыня, кочевья киргиз и калмыков.

Теперь — немцы.

В 1763 году по германским городам читался манифест Екатерины Второй, российской императрицы, в коем говорилось, что в России, на Волге, есть такие чудесные места, где произрастают лимоны, винограды и мирты, происходит миртовая жизнь, эдакий лирический лимонад из писаний великой императрицы, и что она Фелица приглашает всех желающих немцев ехать туда на вечные времена трудиться и блаженствовать без податей, без воинской повинности на сто десять лет, на новые земли, где каждый может себе взять земли, сколько захочет. Манифест обещал бесплатный проезд до этих

чудесных земель и ссуды на инвентарь и скотину. Манифест читался на площадях по немецким городам под звуны бубенцов, привлекающих толпу, как и доныне читаются приказы в волжских немецких колониях, — читался в дни после разгрома Семилетней войны, — и до Волги, barkами по Тихвинской и Мариинской системам от Петербурга, дотащилось тридцать тысяч немецких неудачников, разоренных войною и голодом, в первую очередь ремесленников, до сих пор сохранивших свои профессии, сохранивших германский осьнадцатый век, меньше крестьян, называющих огороды плантациями, в еще меньшем количестве — студентов, аптекарей, солдат, офицеров, даже дворян, даже одного барона — Дэнгофа, в честь которого назван большой, ныне сарпинковый поселок. Люди тогда приехали к осени, в места, где, как полагалось по российским традициям, миртов не произрастало, но была голая степь, ковыль, пустыня и ни одного человеческого кола. По степи кочевали киргизы и калмыки, и за степью на горизонтах вставали миражи. Кроме немцев в эти места Екатеринойсылались каторжники и острожники русского происхождения. Немцы оказались в положении более жестоком, чем Семилетняя война, — и в первые же два года от тридцати тысяч немцев осталось двадцать три; офицеры ушли к Пугачеву, солдат вешала Екатерина; многие ремесленники собрались было бежать обратно, — и есть ряд рассказов о том, как березенцы, русские каторжане, за мзду брались провожать безъязыких немцев, везли немцев на дощаниках до ближайшего глухого острова и там резали немцам языки. В нынешнем Маркштадте — в прежнем Катринштадте — до сих пор видны остатки рвов, крепости, охранявший колонию от киргизов и от россиян. Киргизы так же, как и россияне, имели привычку резать немцам языки, не умеющие говорить по-

русски. В 1924 году, по переписи, немцев было шестьсот тысяч человек: но это не к тому, как немцы применились к миртовой благодати этих мест, размножившись и сохранив свой осьнадцатый век.

Немцы пришли блондинами, северяне. Тип теперешнего немца прицмерно следующий: выше среднего рост; темные волосы, изредка яркорыжие; темный, коричневый цвет кожи; темные глаза. На голове у немца широкополая соломенная шляпа, — такие же шляпы на головах у лошадей, — в зубах у немца сохранившаяся от Германии трубка на длинном мундштуке, сплетенном из кожи. В колонии Дэнгоф строилось в 1926 году несколько-этажное кирпичное здание, рыли ямы для фундамента, — и оказалось, что здание ставится на старом немецком кладбище. Археолог доктор Пауль Рау и этнограф профессор Дингэс приехали на стройку, чтобы обследовать кладбище. Трупы немцев, мужчин и женщин, сгнили в гробах, но кости, волосы и одежда остались. Скелеты мужчин лежали в шелковых жилетах, в сюртуках и в галстуках, вывезенных еще из Германии. Женские скелеты были в шелковых платьях и в чепчиках. Теперешний тип немца обязательно темноволос, — в могилах сохранились волосы умерших — пшеничные волосы северян. Сто шестьдесят лет немецкого заволжья, степной зной и степные морозы, азиатские стихии — перекрасили немцев, изменили их антропологический тип.

И Рау, и Дингэс написали исследование о влиянии климата на человеческую особь. И Рау, и Дингэс — поти-хоньку от сельчан — взяли из могил шлафроки, галстуки, женские платки и юбки — для этнографического музея. Судьбы этих чепчиков и шлафроков — необычны, — вывезенные из Германии, пролежавшие полтораста лет в земле, ныне они лежат за стеклами музея в удушилицом и пыльном зное города Покровска.

II

Профессор Георгий Дингэс записал сказку.

Шульмайстер Шварцкопф из колонии Дэнгоф Бальдерского кантона умер, оставив жену и дочь, бедную и очень красивую невесту. В это же время умер пфарер Трэнклер, богатый человек, оставил свою жену и сына, красивого и богатого жениха, бондаря по профессии. Молодой Трэнклер посватался за молодую Шварцкопф, и это была лучшая и счастливейшая в Дэнгофе пара. Шульмайстерша фрау Шварцкопф вместе со своею дочерью переехала к Трэнклерам — в богатую и покойную страсть. Старухи Шварцкопф и Трэнклер очень сошлись характерами и очень подружились. Молодые были счастливы, и в первый же месяц дочь призналась матери, что она понесла ребенка. И вдруг тогда соседка сказала по секрету фрау пфарерше, что у фрау шульмайстерши — нехороший глаз. В сердце пфарерши запала тревога, мелочи стали подтверждать ее сомнения, и она тогда пошла к знахарке, чтобы посоветоваться с нею. Знахарка дала совет, как узнать истину: надо было в тот час, когда пропоет третий петух, найти в курятнике первой яйцо, снесенное за эту ночь, съесть его сырьем и ждать наутро вопросов шульмайстерши; если шульмайстерша задаст подряд три вопроса: куда пошла моя дочка? — продал ли Ганс вчерашние ободья? — перестали ли болеть ноги фрау пфарерши? — если она задаст эти три вопроса, стало быть у нее черный глаз. Пфарерша поступила так, как советовала знахарка. Утром на рассвете в тот день сын уехал в соседнее село на базар и жена пошла проводить его до околицы, — и за кофеем шульмайстерша задала подряд три вопроса, напророченные знахаркой. Фрау пфарерша уверилась, что у фрау шульмайстерши черный глаз. Но через несколько дней соседка сказала

пфарерше новую новость, о том, что шульмайстерша — колдунья. Пфарерша опять пошла к знахарке. И знахарка дала средство узнать, истинно ли это. Надо было у пойманной в субботу щуки в полночь, с субботы на воскресенье, вынуть икру, сварить ее до третьих петухов и съесть без соли, когда пропоет третий петух,— и утром тогда надо было итти в костел, смотреть, не отрывая глаз, в купол над алтарем, и если действительно шульмайстерша есть ведьма, тогда она будет видна в куполе, где будет она летать на венике. Пфарерша поступила так, как ей советовала знахарка,— и действительно, в тот момент, когда органист вознес «ава, Мария», под куполом появилась в омерзительном виде, голая на метле шульмайстерша фрау Шварцкопф. Счастье пфарерши фрау Трэнклер было разбито, сын не поверил ее видению, грозил знахарке, что он донесет русским властям, оставил у себя шульмайстершу,— и фрау Трэнклер вынуждена была покинуть богатый свой дом и поступить работницей к патеру.

Профессор Дингэс расследовал историю возникновения этой легенды.

III

Пароход уходил в закат и в отдых от зноя.

И во мраке июньской волжской ночи пароход пришел к пристани, гудел, пришвартовывался к керосиновым фонарям конторки, в нерусский говор. За сходнями, на берегу, под отвесом горы стоят распряженные фуры. Немцы не волнуются. Телеграмма не дошла во время. Ночь,— та пожухлая уже в июне волжская степная ночь, когда из степи веет жарким удущьем, пылью и мятою.

— Нам надо в Бальцер,— говорит профессор Дингэс.

— Кани-манн,— отвечает возница и медленно приступает к фуре, чтобы запрячь лошадей.— Варт-манн.

Эти фуры вывезены из Германии, в каждом поселке есть фурманн, мастер по строительству фур. Лошади в дышлах. Профессор Дингэс спрашивает, как называются части фур: опросом названий обыденнейших вещей, записью этих названий и фонетикой произношения Дингэс восстанавливает, откуда пришла эта семья немцев, из Баварии ли, из Саксонии ли или из Пруссии. Дингэс спрашивает возницу, из какого села он родом, на ком женат, кто у него в родстве,— и Дингэс читает в его ответах книгу столетия его рода,— под электрическим фонариком он записывает иероглифы анкеты — те, которые вскрывают книгу столетия. Ночь пожухла, пыльна, удущива. Небо темно. Прибрежные горы стоят отвесом

Лошади готовы.

— Биттэ!

Фура ползет в гору шагом, под обрывом горы, в овражную щель, валится с боку-на-бок, но не скрипит, сделанная навек. Въехали в лес, в прохладу и шелест дубов. Спустились в овраг. Поднялись вверх. Темно и ничего не видно. Прошел час пути. Лошади побежали рысью.

— Вот отсюда сворачивает дорога к Карлу Швабу,— сказал возница.

Ни Дингэс, ни Рау ничего тогда не знали о Карле Швабе. Никто ничего не ответил.

— Закурим,— сказал Рау и предложил папирюску вознице.

— Кани-манн,— сказал возница и остановил лошадей, чтобы высечь зажигалкой огонь.— Карл Шваб был очень хорошим, трудолюбивым хозяином.

— Какой это Карл Шваб? — спросил Дингэс.

— А это тот, к которому пришли черепа,— ответил возница.

Поехали дальше, во мрак, оврагами, лесом. Лошади бежали рысью, гнали за собой пыль, пыль пахла кремнем

и полынью. Молчали. Выехали на холм в степь. И в бесконечном просторе степи, впереди, направо, налево, на версты и на десятки верст загорелись в степи десятки костров.

— Смотрите, Дингэс,— сказал Рау,— это от кочевого древневековья.

Сказал возница:

— Это в степи пасутся стада и табуны и костры разложены, чтобы пугать волков, которые рыщут по степи. Особенно много развелось волков после революции.

В Бальцер приехали ночью, в кантон, с улицами, проложенными линейкою и заложенными пылью по щиколотку. Кантон спал, прикрыв ставни. Выли — по-степному — собаки. Небо также было степным. На постоялом дворе блистательствовала чистота. Дали четыре полотенца и две постели. Электричество погасло в час ночи.

Наутро в палительном зное перед глазами прошел Бальцер, этот кантон, где в каждом доме ткут сардинку,— сардинка — Сарента — сарептинские немцы. День прошел кожевенным заводом, где нечем дышать от удушья падали, клубами пшеничной пыли вальцовой мельницы, горами подсолнечной шелухи маслобойного завода. На литейном заводе отливали части для фур и для сеялок. За невероятностями пыли из зноя переулков, около реки Голый Карамыш стояла сардинковая фабрика, немки склонялись над ткацкими машинами в немецком порядке и в чистоте. Бальцер — кантон, индустриальный центр,— фабрики, уничтожающие кустарничество,— и все же кантон весь день шелестит необыденным, странным для степного зноя шелестом кустарных ткацких станов: это в домах ткут сардинку женщины, дети, мужчины.

В новом закате отдыха от зноя «форд» кантонального исполкома (у волжских немцев в каждой волости по «фор-

ду») понес ученых в Дэнгоф, в село кустарей и школьных раскопок, на родину фрау Шварцкопф и фрау Трэнклер, в прямые немецкие улочки с белыми домами за ставнями и заборами. Учитель Кэрнер показывал новые немецкие буквари, толковал о многопольи и водил на свою плантацию — и в конюшне у него за притолоку были засунуты сушеные щучьи головы — от злого глаза. Дэнгоф шелестел ульем прялок в керосиновом мраке окон средневекового ткачества. Ночь засветилась свечою месяца над степью и кострами в степи. Тогда колония уснула. Последний верблюд прошагал к воротам.

В каждом доме ткацкие станы, мужчины, женщины, дети сидят за станами, ткут сардинку,— и в каждом доме пахнет свежим ситцем. Дингэс записал количество станов в колонии, выработки, процент туберкулезных и близоруких, стопроцентность кооперированности ткачей,— и записывал названия частей фуры, частей трубки, частей станов и сундуков, чтобы вскрыть столетия. Доктор Рау в архиве сельского совета раскалывал родословную шульмайстера Шварцкопфа и пфарера Трэнклера, чтобы совместно с Дингэсом расследовать историю черного глаза. Дингэс и Рау ходили по старикам и старинным домам, просили показать им старинные трубы, сундуки, платья, веретена,— убеждали отобранное прибрать для музея, тут же заполняя благодарственные от музея грамоты. В одном из домов они нашли старинные, еще от Германии, очки. Еще утром учитель Кэрнер сообщил, что он, вернувшись с плантации, отправит свою жену с учеными к знахарке. После вечернего кофе фрау шульмайстера Кэрнер пошла с учеными к бабушке. Дом бабушки, как все дома, главную комнату заставил ткацкими становами, под окном у стана внучата устроили свою кукольную комнату и забились туда, чтобы посмотреть гостей. Бабушка приняла гостей в новом платье и провела их в столовую, пред-

ложила медовых пряников и по рюмке портвейна. Бабушка села в кресла к камину, и гости сели вокруг нее. В первых фразах бабушка сообщила, что она никоим образом не связана с темною силою и верная лютеранка,— все ее знания у нее от бабушки, верные знания, потому — что ее прапрапрадед был студентом и лекарем в Саксонии. За свою жизнь она приняла шестнадцать тысяч детей и немногим меньшее количество людей — за эти годы голода и смерти — обмыла перед гробом. Она побрила врачей, которые заставляют женщин ложиться во время родов, и с гордостью заявила, что все ее роженицы рожали стоя, как и требуется природою. Дингэс расспрашивал бабушку о фрау шульмайстершу Шварцкопф,— бабушка подтвердила истинность истории, сообщив, что все это произошло, когда она была уже замужем. Затем бабушка отвела шульмайстершу Кэрнер в отдельную комнату, чтобы дать несколько советов и побеседовать об их женских делах. Фрау Кэрнер вышла от бабушки, гордая, смущенная, раскрасневшаяся, и ничего не рассказала мужчинам о советах бабушки,— дома же, по настоянию мужа, передала профессору Дингэсу для музея порошочки из кирпича, останавливающие кровь, и порошочки из лягушечьих костей и менструальной женской крови, привораживающие любовь. Учитель Кэрнер толковал за ужином о преимуществах корнеплодного хозяйства в деле кормления животных.

Новым вечером форд отнес ученых в новое село, где так же шелестели ткацкие станы. Та ночь не принесла отдыха от зноя. Улицы задыхались от жажды закрытымистворами окон и серебряной свечою месяца в небе. В доме, где остановились ученые, на полы в комнатах клали мокрые полотенца, чтобы утолить жажду комнат. Хозяин дома — ткач Юнг — провел гостей в гостиную. В парадной комнате стояли клавесины и две кровати за десятком

подушек. Хозяин был молчалив и очень черен, заросший черной бородой.

— Если мои господа хотят,— сказал ткач Юнг, беспомощно улыбнувшись,— если мои господа хотят, мы с женой сыграли бы и спели для удовольствия гостей. Мы всегда проводим отдых в пении.

Ткач Юнг тихо улыбнулся, лицо его стало блаженным. Он извлек из клавесин несколько звуков,— удивительнейшие звуки, выцветшие в этом степном зное. Жена села рядом с мужем и запела. Муж подпевал клавесинам и жене. Запели дети, став около матери. Лица всех певших были умилены. Профессор Дингэс записывал слова песни: песнь сохранилась еще от Германии, выцветшая в степи и переиначенная столетием зноя. Семья ткача Юнга оказалась духоборческой семьей.

IV

Немец Карл Шваб, рыжеусый, безбородый, черноволосый человек, кадык которого походил на его колени, а кадык и колени вместе — на его трубку, торчавшую из рыжих усов, кареглазый, впалогрудый человек, после жесточайшего голода 1920 года, дошедшего до людоедства, ушел из колонии на отруб. Карл Шваб получил надел недалеко от Волги, где степь обрывается в Волгу горами, надел был на опушке леса, на краю оврага. Лес стоял рядом, кленовый и некленовый, зеленый лес. Карл Шваб решил строить «кутор», как немцы называют хутора, на холме, неподалеку от овражного обрыва.

Еще зимой перевезя сруб и прочие материалы, конец зимы прожив у соседа, посеявших с весны, летом Карл Шваб, переселившись со своей семьей на новый кутор, приступил к постройке дома. Работали он, его сыновья Иоганн и Фридрих, его жена Марта и дочери Мария и

Виктория. Семья была молчалива и дружна. Сыновья строили себе отдельные комнаты, ибо решено было осенью жениться. Девушкам предполагалась светелка, чтобы кротать время до брака. Во временном сарае, где хранились сельскохозяйственные машины и домашняя утварь, где люди спали и питались, на полке, над обеденным столом, хранились сельскохозяйственные журналы и проспект стандартного строительства на немецком языке. Мужчины вечерами перепроверяли планы, задуманные еще зимою.

В августе, когда пшеница была убрана, когда была закончена постройка дома,— на кухне возникла немецкая печь, обмазанная глиной и известью, целое немецкое строительство со многими печурками, топками, подтопками, с кубом для выварки белья и для варки мыла, с плиткой для кофе, с духовкой для супа и с другой духовкой для кухенов,— целое строительство под аркой; хозяйка должна работать под этой аркой, чтобы справа и слева от ее руки были все эти топки и подтопки, чтобы камин грел ее ноги, камин, в котором также можно конститить свиные окорока и грудину. Над камином вбиты были вешалки для просушки одежды после осенних дождей и зимних вьюг.

Зимой в метельные дни должны были бы все собираться около камина, чтобы слушать сказки фрау Марты о ведьме из Дэнгофа, которая превращалась в свинью и которую в свином состоянии однажды поранил прохожий, так покричил, что ведьма, гросямутер такая-то, целую неделю не поднималась с кровати,— средневековые сказки, привезенные сюда из немецкого осьнадцатого века.

В девичьей светелке висела мадонна, около которой девушки пели, вышивая тряпки, «авэ, Мария». В комнате отцов стояла резная кровать, в несколько этажей заваленная подушками и одеялами, где из-под нижнего одеяла

свисали кружева, сплетенные Мартой. Около кровати стоял сундук, вывезенный еще из Германии, предмет изучения профессора Дингэса. В сарайах и в конюшнях у притолок были повешены сущеные головы рыбы, щуки, охраняющие от чертей, родившихся где-то в Германии: эти рыбы головы были предметом изучения и Дингэса, и Рай.

В начале сентября, когда поля окончательно были уже обработаны и перепаханы под зиму, отец и сыновья стали копать погреб, чтобы сложить туда корнеплоды.

Было осенью сырь. Встав в пять часов, моросящим рассветом, отвесив корма животным, начав рабочий немецкий день, выпив в половине восьмого кофе из жженой пшеницы, отец и сыновья пошли на двор (построенный степным уметом), там онирыли погреб. Иоганн и Фридрих спустились в яму и выкидывали оттуда землю, Карл отвозил землю к конюшням, чтобы утеплить их землею. Трубка, кадык и колени Карла были медленны и степенны. Старший Иоганн, похожий на отца, рыл в темном углу, перекидывая землю Фридриху. Фридрих, коренастый, как мать, кидал землю отцу.

Лопата Иоганна уперлась в твердое, это не был камень. Иоганн копнул раз, два и три — и к ногам его покатилось нечто круглое. В темноте нельзя было понять, что это такое.

— Варт-манн,— степенно сказал Иоганн брату и крикнул наверх: — Фатер!

— Кани-манн,— ответил сверху отец.

Иоганн высунул из ямы на свет человеческий череп. Череп был коричнев и скуласт. Лица Карла и Иоганна выражали ужас. Фридрих глупо улыбнулся. Не меньше, чем минуту, то есть вечность при таких обстоятельствах, Карл и Иоганн были неподвижны в ужасе.

— Что ты смеешься, оболтус, — сказал отец Фридриху.

Фридрих проникся страхом. Отец вынул трубку изо рта, все его кадыки удвоились. Иоганн вылез из ямы и стал рядом с отцом. Фридрих так же вылез и так же стал рядом — с братом.

— Штиль! — сказал отец. — Молчание! — Иоганн, принеси фонарь.

Отец полез в яму. Фонарь осветил куски человеческих костей, торчавших из земли. Отец сел на землю, в страшном ужасе и горе, подпер рукою голову. Он встал и вылез из ямы. Он еще раз осмотрел человеческий череп и еще раз, с черепом, полез в яму. Он положил череп к позвонкам, затылком к востоку, как лежал череп, и вылез из ямы.

— Штиль! Шнэлль! — сказал отец. — Молчание! Скорее!

Карл взял лопату и бросил ком земли с края ямы в темный угол, где был череп. Сыновья безмолвно последовали примеру отца. Трубки не было в зубах Карла. Фридрих от природы был глуп, как знали все в семье. Лица Карла и Иоганна были покорны судьбе. Теперь уже Фридрих возил землю на тачке от конюшни к яме. Моросил мелкий дождь. Степь была пуста и печальна.

Двадцать минут двенадцатого Марта позвала обедать. Отец воткнул лопату в землю под навесом, ничего не сказав. Мужчины молча вымыли руки и сели за стол, около андерсеновской печи, которую Марта уже победила, выпотив.

Обедали молча и молча после обеда пошли по своим постелям спать до кофе.

После кофе до сумерек мужчины заваливали яму в излишней для немцев поспешности. Заваливать — куда быстрее, чем выкапывать, и наутро мужчины кончили работу.

Тогда отец сказал сыновьям в последний раз:

— Безмолвие! — женщины не должны знать, никто не должен знать. Мы начнем копать погреб в другом конце двора.

Женщины не спросили мужчин, почему мужчины переменили свои планы, и тем не менее, потому что иной раз вести распространяются без человеческих слов, Марта, мать, в этот вечер, после вечерней в половине седьмого пищи, когда семья собралась около камина против арки, где священодействовали женщины, когда мужчины повесили свои картузы над печью, — Марта иноречиво рассказала историю шульмайстерши Шварцкопф, бывшую на памяти Марты, когда она была девочкой, — когда фрау шульмайстерша Шварцкопф имела черный глаз, ради которого фрау пфарерша Трэнклер вынуждена была покинуть богатый свой дом и поступить работницей к патеру. Фрау Марта рассказала эту правдивую историю, косо поглядывая на мужа, иноречиво задерживаясь на паузах. Дочери в страхе жались к матери, младшая прятала голову от огня камина. За домом, в степи, гудели осенние ветры и шипел дождь. Лицо Фридриха было расстроено. Иоганн и отец были каменномолицы.

— Надо иметь спокойный сон, жена, — сказал Карл и поднялся со стула без четверти девять, чтобы задать скотине на ночь и в девять быть в постели.

Отец всегда один выходил в этот час на конюшню, сейчас он сказал старшему сыну: — Ты пойдешь со мною, мальчик.

Сын зажег фонарь, чего обыкновенно не делалось, — отец не упрекнул его в неэкономности. На дворе было очень темно, гудел над степью ветер и хлестал по кутуре дождь, в черном мраке. Мужчины шли рядом, сын жался к отцу, и сын сказал отцу шепотом:

— Страшно, папа.

— Да, очень страшно,— также шепотом ответил отец и положил руку на плечо сына, приласкал сына отцовской своей рукою.— Очень страшно, мальчик.

Наутро мужчины стали рыть погреб в другом конце двора. Иоганн перекидывал землю Фридриху, Фридрих наваливал землю на тачку, отец отвозил землю к конюшне. И через неделю произошло то же, что было девять дней назад: Фридрих откопал человеческий скелет. Лица всех троих теперь изображали ужас. Отец долго сидел на тачке, оперев щеки ладонями, трагически качая головою. Мужчины в безмолвии и поспешности стали заваливать яму. Яма была завалена и сравниена с землею.

Сентябрь уже перевалил на октябрь, начались заморозки. Отец решил рыть погреб в подполье. И опять через неделю труда найдена была могила, теперь уже много человеческих костей и среди них не человеческий уже, но лошадиный череп и около черепа непонятная золотая монета.

Подполье было закопано.

В эти девятнадцать дней рытья погребов Карл Шваб совершенно поседел.

— Мы не хотим больше иметь погреба,— сказал отец.— Мы бедны, чтобы покинуть это место. Молчание! — жизнь всегда идет наряду со смертью, если это не есть злой глаз.— Молчание!

В ноябре подули первые метели.

V

Карл Шваб построил свой кутор на старом кургане. Есть обстоятельства, когда вести расходятся по людям без слов: никто с кутора не мог бы указать, каким образом узналось и в Бальцере, и в Дэнгофе о том, что род Карла Шваба спознался с нечистью, совершенно средневековою силу, подсунувшей под кутор Карла Шваба мертвцев.

Зима в этом году была снежна и метельна, дороги к кутору замело снегами. Сыновья Иоганн и Фридрих в том году не поженились, как предполагалось, и даже не сватались.

Весною к Карлу Швабу приезжал археолог доктор Пауль Рау, чтобы обследовать курган. В начале лета к Карлу Швабу приезжал профессор Дингэс, чтобы установить, как возникают легенды о черном глазе. Обоих их у ворот встречал седой старик Карл, с трубкою в зубах, в широкополой соломенной шляпе. Его взгляд был покоен и непроницаем. Он был неприветлив и обоим приезжавшим говорил одно и то же.

— Что вы хотите от меня, мои господа? — у меня нет только погреба, и больше ничего. Прошу не позорить моего дома.

Все в округе знали, что у Карла Шваба — именно нет погреба.

После приезда этих ученых людей к Карлу Швабу — и в Бальцере, и в Дэнгофе подлинно знали, что Карл Шваб, превратившийся за зиму в старика, уступивший работу сыновьям, не только спознался с черным глазом, но и сам возымел его, упорно о том замолчав.

Так возникают истории, подобные истории фрау шульмайстерши Шварцкопф.

VI

...Степь, степь, солончаки, поля пшеницы, солончаки, ковыль, полынь, степь. Зной. Изредка побежит-побежит по земле, разбежится, оттолкнется от земли, полетит — дрофа. Изредка встанет межевым столбиком сурок. Изредка продымит около дороги трактор. Изредка пройдут верблюды. Изредка видны курганы. Степь, заволжье, зной. Там впереди — уже за десятками, а не сотнями

верст — земли Казахстана, Киргизия, Азия. Безлюдье. Степь. Зной.

И вот сейчас же, за десятком верст от Волги, когда по зди точно рядом волжские горы,— впереди в степи возникла чудесность — возникли пальмы, миры, виноградники, озера, воды, непонятные человеческие стройки, фантастика, чудесность,— все то, что написано в манифесте Екатерины Второй. Это — мираж.

Над степью зной. Впереди некие минуты стоит мираж, блекнет и растворяется в ничто. За миражем впереди — степь, изредка курганы, на горизонте горб верблюда, синий воздух, колеблющий пространства. И вновь возникает мираж, вновь к тому, чтобы утвердить манифест императрицы Фелицы. Пустыней степи идет день, зной дня, солончаками, пшеницами, курганами, дрофами. Все больше и больше солончаков выгоревшей, мертвей земли, окаймленной ковылем. В закате опять возникают миражи, необыкновенные растения, необыкновенные леса и города. И тогда впереди возникает громадная плотина, обсаженная деревьями, громадное озеро, громадные пространства садов и плантаций. Это немецкие оросительные плотины — научная станция, где изучают плод, зерно и почву.

И навстречу летят триллионы субтропических комаров. Там, за этими клоками солончаковой степи, залитыми теперь, в эти последние годы, водой,— за этими плотинами — киргизская степь, тысячи, громадные тысячи верст кочевнической Азии. — Около солончаков стоят гряды курганов, сарматские ли, скифские, монгольские — эти курганы, грядою уходящие вдаль по вершине балки. Курганы оказались аланскими.

В городе Покровске, в музее, где постоянно работают профессор Дингэс и доктор Рау, изредка собираются на заседание экономист Генрих Шлэгель, кооператор Виктор Штромбергер, статистик Николай Либих, общественные

деятели,— иногда заходят члены немецкого правительства. Тогда ведутся очередные рабочие разговоры, о менно-голландском скоте менонитского концептальского района, о холодильном деле, о хлебозаготовках, о кустарном ремесленничестве, о растительности заливных волжских лугов, о сыроварении, о бэконном деле, о многом очередном прочем.

Осеню на улицах Покровска грязь по-ушки. Зимами над Покровском, над степью лежат белейшие снега, проходят бураны.— За буднями разговоров в музее, когда заседания заканчиваются и остаются доктор Рау и профессор Дингэс, эти два рыцаря своей родины, когда они говорят о своих работах, так же обыденно, как на заседании,— говорят о вновь разработанной сказке и о новом разрытом кургане, о платьях, принесенных в музей из могил,— тогда возникает — здесь в этих музеиных комнатах — возникает история, наука этой страны. За стеклами витрин лежат человеческие черепа, камни и утварь тысячелетий курганов.

Ямское поле,
апрель 1928.

ДЕЛО СМЕРТИ

О березе.

Безразлично, в бересовой ли роще береза или вот та, что стояла против каменных окон Института Жизни, — русская береза, столь воспетая поэтами, навсегда нестерпящая, — белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.

Но надо размышлять так, как надо размышлять через каменное окно лаборатории Института Жизни, когда за окном старинные постройки и заасфальченный двор. Эта живая береза навсегда прикована к своему углу двора, никогда не уйдет отсюда: ее движение начинается за смертью, она очень крепко вросла корнями в землю. Безразлично, эта ли береза или березы в соловьиной роще: клиническим диагнозом надо установить, — самое характерное свойство березы, леса вообще — неподвижность, когда движение начинается только после топора дровосека, если это андерсеновская сказочность. И именно эта неподвижность вызывает у человека жалость к березе, жалость к древесной природе, — но от леса — человеку — эта же дана в наследие покорная неподвижность, когда на зимы березы умирают — человеческой смертью, — подлинной же бересовой смертью умирают — для человеческой жизни. Поэтому лес, как береза, успокаивает человека, углубляет человека в самого себя,—

человек не осознает своей жалости, которую вызывают береза и лес их неподвижностью.

Впрочем, у человеческой особи, которой нужна успокоенность, нет жалости к лесу, возмущающего и возбуждающего в березе, — точно так же, как для строящего человека лес противен его фатализмом, заложенным в лесной природе, действующим так же, как человеческая горькая глупость, которой нет возможности помочь.

Закон один: бесконечное ограничение жизни, когда жизнь начинается после смерти, таится под этим белыми свечами коры березы, — березу видно через окно, — через стекла окон береза и мысли о ней идут в человеческое сознание, в черепную человеческую коробку.

Институт Жизни был институтом при Московской Коммунистической Академии, старый княжеский особняк был превращен в лаборатории Института. Над Москвой и над Институтом проходили рассветы и закаты, — то есть, в Космосе своими орбитами вращалась — Земля, любительница, как старинная замоскворецкая купчиха, погреть все свои бока около солнышка. По утрам в Институт приходили научные сотрудники Института, профессора, ассистенты, лаборанты, чтобы двигать работу Института. Иные из сотрудников не уходили из Института по суткам и по неделям. Иные поместились жить в Институте в сводчатых княжеских антресолях, похоронив себя там знанием и книгами. Все сотрудники были людьми той породы, которую человечество ссылает в науку: у таких людей есть традиции отцов физических и отцов знания, есть умение видеть в микроскоп и читать химические формулы, есть умение провидеть будущее, но у них часто нет выходных костюмов, носового платка и лишнего рубля, и у них могут быть различнейшие характеры, не мешающие их работам, они могут влюбляться, изменять, ненавидеть, конкурировать. Жизнен-

ные их интересы связаны с Институтом и тою таинственной сеткой, по которой получается — хамская вещь — жалование. В лабораториях Института покойствовали формулы, колбы, микроскопы и человеческий мозг, проникающий в тайны формул, — там были сводчатые потолки, и крепостные стены хранили тишину дома, — березка за окном была случайностью.

На антресолях, куда надо было проходить винтовой лестницей, по комнатам жили научные сотрудники. В самой дальней, с окнами на солнце и в тишину парка, жил химик Сергей Андреевич Вельяшов. Вельяшову было тридцать четыре года, — он был очень здоров и очень красив, высоколобый, широкоплечий, широкожестый. Он умел весело работать, он был озорновато талантлив, молодой химик, идущий к большой работе. К себе на антресоли, где жил он один, без семьи, он перенес все, что осталось у него от стариннейшего его кавалергардско-масонского рода, немного фарфора, немного книг осьминадцатого века, много портретов, много грамот и семейных записей, — этого хватило, чтобы сделать его комнату комнатой антиквара и чтобы особенно подчеркнуть его стол, рабочий стол химика у светлого окна в книгах и тетрадях с формулами. У этого стола очень многие его друзья перешли с ним очень многие вечерние часы ожидания завершений опытов.

Он, Вельяшов, застрелился из старинного пистолета, не оставив никакой записи.

Профессор Павлищев, академик, ректор Института, снес его труп в институтскую мертвецкую. Ничего, что указывало бы на причины самоубийства, найдено не было. В бумагах был найден только один листок, который казался неожиданным в его бумагах, — но этот листок был написан за год до его смерти и валялся глубоко в ящике. Вот этот листок:

«Целый день просидел неподвижно в кресле, и мысли все время разбивались по мелочам: переплет окна, береза, белеющие изразцы печи, диван, книги, — все это перемещалось в плоскости и давило на сознание. Больше всего меня давил тот факт, что мухи, облеплявшие окно в свете дня, к вечеру исчезли. Изредка одна-другая прилетали в светящийся четырехугольник окна, жужжали заунывно и улетали обратно, прочь от окна. Я думал:

«холод, а за холодом — смерть. Инстинкт жизни: лететь в темный угол от светлого окна, в тепло печи от холодного света. От холода смерть!..

«В жизни, в моей жизни, также есть холодное окно смерти, к которому изредка я подхожу. Там сияет свет, холодный, замораживающий. Итти за окно — это значит заморозить все чувства и мысли. Тогда хочется уйти назад, — там темно, гадко, удушливо, но там тепло, теплится жизнь.

«В полумраке комната принимала огромные размеры, и светившиеся закатом окна казались пропастями в бесконечность. Весь тот вечер я рылся в ведовских записях. Холодно!..» —

Профессор Александр Иванович Павлищев приказал вскрыть Вельяшова. Вскрытие установило, что все органы Вельяшова нормальны. Академик Павел Иванович Павлищев присутствовал при вскрытии. Вообще академик походил на птицу, сделанную так, как рисуют птиц дети: волосы разлетались крыльями, лицо изображало туловище, — но под носом у него сидела вторая птица: крылья — усы, туловище — седенькая бородка, клинышком. Академик топорщился всеми своими птицами, когда патолог-анатом разводил руками.

— Я ставлю вопрос, — сказал Павел Иванович Павлищев патологу-анатому, — отчего же он умер? — Случайной смерти не может быть!

— Все органы нормальны, сердце нормально, мозг нормален, — ответил анатом и пожал плечами.

— Ну, это надо исследовать, это надо исследовать, надо исследовать! — возразил Павел Иванович.

Анатом взял кусочки сердца, мозгов, секретные жидкости и направился в свою лабораторию. Павел Иванович Павлищев весь тот день сидел в комнате Вельяшова, роясь в его бумагах и архивах. Через каждый час он спускался к патологу с одним и тем же вопросом.

— Ну что, разобрались?

Анатом отвечал сердито и пожимал плечами.

— Разберитесь, разберитесь.

Наутро анатом разбудил Павла Ивановича на рассвете, пришел к нему, к его постели со стеклянной пластинкой, на которой был растянут кусок ткани сердца бывшего человека. Анатом был торжественен. Рассвет был синь.

— Вот видите, нашли, — сказал академик.

Ученые пошли к микроскопу.

Академик снял пенснэ, чтобы вникнуть в мир страшноМалых величин. Академик крякнул и оторвался от микроскопа. Он посадил пенснэ и сказал, рассматривая анатома:

— Ничего не могу понять.

— Вот именно, — торжествуя ответил патолог. — Я так и думал. Поэтому я принес вам для сравнения образец нормальной ткани сердца.

Сравнили. Ясно: перерождение тканей, видное только в микроскопе и только при сравнении здоровой ткани с больною.

— Что же, от этого только он и умер? — спросил академик.

— Да, больше нет никаких причин, — ответил анатом.

— Посмотрим, — взорвался академик, — и заговорил уездным учителем, обращаясь к собравшимся ассистентам, возвещая всем известные истины: — Какой нежный орган — сердце человека!.. малейшее изменение мускулов, перерождение тканей, сужение или расширение сосудов кладут неизгладимую печать на человеческую жизнь и обрывают ее раньше времени. Но я должен сказать — о самоубийстве мы очень мало мыслим как о чем-то неизбежном. Горькая обида растет в душе: кажется, что если бы был с человеком вместе, поговорил бы с ним, рассеял его мысли, наконец просто увез бы его куда-нибудь, дал ему другую работу, — тогда не случилось бы этого — —

Два дня академик Павел Иванович Павлищев провел на антресолях в комнате Вельяшова, Академик рыл архивы вельяшовского рода. За окном Земля грела свои обочины, приходили рассветы и закаты. Две птицы лица академика углубленнейше вникали в геральдические акты, в родовые письма, в записи працедов. Красный карандаш в белой руке профессора чертил на листке бумаги даты смертей и рождений, таблицы характеров отцов и дедов. От книг, от записей, от бумаги пахло столетьями и Вельяшовым, родовым запахом Вельяшовых, ибо стариные дворянские роды гордились не только своими геральдическими гербами, но и родовым запахом. Усы академика походили на воробья, голова его походила на ворону, глаза за очками были хитры и веселы.

Академик установил выписями из родовых записей, рассматриванием портретов и должностными характеристиками — установленное обстоятельство, записанное академиком так:

«Род очень старинный, материала от эпохи Петра Первого. Материала подтверждается галереей пред-

ков. В каждом поколении было два типа. Один тип склонен к науке, к философии, в роду ряд масонов, вольтерьянцев, декабристов, земские деятели, люди имели склонность к тучности, к малоподвижности. Другой тип — сангвеничен, действенен, большей частью люди военной карьеры, голубые уланы, кавалергарды, низкорослы, худощавы, любострастники, со склонностью к алкоголизму. Все представители первого типа были глубоко одарены, второй тип был мелкотравчат. Люди первого типа, все до одного, включая и Сергея Андреевича Вельяшова, умирали в возрасте от тридцати трех до тридцати шести лет: для нас несущественны причины смерти. Люди второго типа, проделавшие многие походы, много раз раненые, часто глубокие алкоголики и, повидимому, хворавшие венерическими болезнями, — доживали до семидесяти-восьмидесяти лет: сердце бреттера, кутилы выдерживало долговечную жизнь, и это долголетие передавалось на протяжении веков. Спокойные учёные, чиновники, религиозные философы, несмотря на прекрасные условия жизни, умирали все на подбор очень рано, в один и тот же срок».

В Институт Жизни из клиник Первого Университета был доставлен труп семидесятилетнего старика — для исследования. В «истории болезни» значилось, что умерший хворал сифилисом, связи с женщинами имел с четырнадцати лет, пить начал еще раньше, алкоголик, долго служил в публичном доме кассиром, дом служил ему клубом и развлечением. Человек умер, упав с лестницы в пьяном виде. Труп вскрыли. Патолог-анатом был поражен сердцем: на том месте, где должно было быть сердце, был сморщеный мешочек, не имевший даже подобия нормального органа, — с таким сердцем нормальный человек не мог прожить и десяти минут.

Патолог-анатом направился с сердцем на антресоли к Павлу Ивановичу. Павлищев рассматривал портреты, обе его птицы щетинились, он был очень сосредоточен. Анатом молча поднес к его глазам сердце.

Академик спросил:

— Сердце утреннего старика?

— Да, — ответил патолог.

Академик скинулся с носа пенснэ, закинул их за спину, накрутив шнурок на палец. Академик заговорил, как ворчат старики:

— Я должен констатировать следующее, да, батенька мой. Сердце доказывает мою основную мысль, которую вы иллюстрируете этим примером. Сергей Андреевич Вельяшов застрелился — по наследственности, иных причин нет. Сердце, конечно, изменено наследственно. Мы еще не докопались, но факт устанавливается: наследственность — она определяет человеческую жизнь, и, когда мы недоумевали о причинах смерти Сергея Андреевича, мы не могли предположить, что таков был его путь, начертанный ему законом наследственности.

— Вы хотите сказать, что и самоубийство тоже наследственно? — спросил анатом.

— Боюсь что-нибудь утверждать, — ответил Павлищев. — Мы еще очень мало знаем, но — это та же болезнь. Один человек простуживается и схватывает насморк, другой при этих же обстоятельствах заболевает воспалением легких.

Академик сунул анатому листок, исписанный — рукой академика — красным карандашом.

— Как идут рефрежераторные работы в подземельях? — спросил Павлищев. — В бумагах Вельяшова я нашел запись, совпадающую с моими мыслями и проектами. Вот она. Вот одна очень существенная фраза: «Холод, а за холодом — смерть. Инстинкт жизни — лететь в тем-

ный угол от светлого окна». — Вельяшов делал наблюдение над мухами. Он не продумал закон до конца. — Академик помолчал. — Рефрежераторы поставлены? — спросил он.

— Да, ставятся, — ответил анатом.

— Отлично! — сказал академик и хитро улыбнулся. — Благодарю.

В Институте Жизни жили, как подобает жить в ученом учреждении. На антресолях стояли диваны, где люди спорили, спали и ели. Основной этаж был занят лабораториями. В подвалах были анатомическая и мертвецкая, и по приказу Павлищева делались скелеты, где рефрежераторы должны были в будущем круглогодично держать одну и ту же температуру, много ниже нуля. В мертвецкой лежал труп Вельяшова. В день его похорон Институт не работал. Утром приехали красные drogi. У большинства сотрудников нашлись неотложные дела, — и за дрожами пошла реденькая толпа человек в пятнадцать, чтобы отдать последний долг человеку и чтобы подтвердить убожество человеческой смерти, когда и эти пятнадцать по очереди забегали в пивные выпить по кружке пива и съесть печеное яйцо, разговаривая по дороге о чем угодно, кроме мертвца и смерти. Павел Иванович Павлищев все время шел за гробом. В Институте в это время оставались сторожа, дежурные ассистенты, и в мертвецкой холодали трупы.

Павел Иванович Павлищев, совершеннейший воробей, шел за гробом пешком, а обратно с кладбища ехал на трамвае.

Младшие сотрудники, как подобает им почтительно шутить над профессорами, шутили; химик сказал, тихо и кося глазом:

— А я думал, что он выйдет из Института только на свои похороны!..

Сосед усмехнулся, глянув на академика.

Павлищев наклонился к ним, посмотрел и сказал очень тихо:

— Глупо, знаете ли, — гнить в земле, превращаться в другие низшие формы, — благодаря покорно!.. Надо иначе.

И академик благодушно улыбнулся.

Вечером в Институте собирались сотрудники, в химической лаборатории. Павлищев ходил между столами, руки назад, благодушествовал, говорил:

— Здесь в Институте мы сидим над вопросами биологии клетки, само понятие смерти для нас чуждо и враждебно. Уж лучше ехать на северный полюс, там по крайней мере умрешь, но не сгниешь. Надо верить в знание, братики!

Вечерами Институт затихал. Немногие сотрудники следили за своими опытами, сидели по своим кабинетам, — если встречались в свободную минуту, то по традиции вечерних часов говорили медленно и тихо.

Этот вечер был длинным вечером Павлищева. Старик, одинокий человек, похожий на летящего воробья и ворону, весь вечер он просидел у себя в антресолях, над книгами и записями, высчитывая, формулируя. Поздно вечером он спускался в подземелье. Старые княжеские подвалы были превращены в склепы, там ставились рефрижераторы, — электрические лампы там горели неярко и там было зимне холодно. В анатомической, где на оцинкованных столах лежали мертвцы и пахло трупом, Павлищев задержался около лаборантов, пошупил и внимательно рылся в записях температур, давления воздуха, влажностей, которые были в подземельях. Оттуда он поднялся в химическую лабораторию, просил поспешить с анализом воздуха в подземельи, его химического состава. Затем академик вновь вернулся к себе на антре-

соли и сел за бумагу, за письма. Он написал немного коротких писем, запечатывая, он заливал конверты сургучом и ставил свою печатку. Письма адресовались Российской Академии Наук, Сорбонне, в Берлин, в Оксфорд, в Вашингтон. Поздно ночью профессор стоял около окна. Светало и на асфальтовом дворе едва-едва была видна белая березка. Академик переоделся на ночь, надел халат. Тогда вновь академик, в халате, вочных туфлях пошел по замершим комнатам Института, обошел весь дом, спустился в подземелье, осмотрел гробницы, позадержался в мертвецкой. И только тогда лег в постель, чтобы спать. Был Павлищев в эти часы очень грустен и рассеян, глаза его были очень мягки, никак не хитрые.

Через неделю рефрижераторы были готовы.

И опять был вечер. Академик ездил в город по делам, на заседание и вернулся часов в одиннадцать, принял ванну и спустился с антресолей в шлафроке и со свечой в руках, ходил по полупустым лабораториям, подходил к сотрудникам, здоровался, разговаривал. Около анатома он задержался. Анатом не помнил впоследствии подробностей разговора.

Академик говорил:

— Человек — это отлитая форма жизни. Человечество еще ничего не знает о законах жизни. Нелепо разбивать форму, если она может пригодиться. Мухи застыгают зимой и ожидают летом. Семена сковываются морозом в почве и прорастают весной. Восстановить индивидуальную жизнь можно только тогда, когда будет сохранена ее форма. Наука должна притти к умению владеть человеческой жизнью, а я еще хочу посмотреть и прожить до тех пор, пока во мне есть жизненный рефлекс. Человечество пришло уже к способам лечения путем замораживания, — путем замораживания следует делать пересадку тканей. Вопросы бессмертия лежат, я пола-

гаю, в области замораживания и оживления живого организма, — или по крайней мере — замораживание даст возможность сохранить форму до того времени, когда подоспеет человеческое знание.

Павлищев попрощался с анатомом, зашел в химическую лабораторию, чтобы взять там анализ воздуха подземелья, в рабочем своем кабинете взял со стола сводку подземельных температур, давлений и влажностей, достал шприц и пузырек с эфиром, — и пошел тогда к себе наверх.

В Институте было тихо и полутемно, шел рабочий будничный вечер. Академик грел себе воду, ставил последний клистир. И тогда, со шприцем, с кнопками и с листком бумаги, он пошел вниз, в подземелье. Его никто не встретил. Он прошел в склеп № 1. Дверь склепа кнопкой не прокалывалась. Павлищев вернулся обратно наверх, взял синтетикон. Синтетиконом он приkleил на двери склепа листок бумаги. Там было написано:

«Прошу хранить мое тело замороженным впредь до того, пока наука не найдет способа оживить меня.

П. Павлищев».

Академик прошел в склеп, прикрыл за собою дверь. В пустом склепе стоял цинковый стол. Академик воткинул себе в вену шприц и лег на стол.

...О березе.

Безразлично, в бересовой ли роще береза или вот та, что стоит против каменных окон Института Жизни. — Русская береза, столь воспетая поэтами, навсегда нестерпствующая, — белая береза, как свеча российских полевых печалей, печалующаяся российскому серому небу. Должно быть, это очень красиво, не только в роще, но и здесь, на каменном дворе.

Саратов,
июнь 1927.

С Н Е Г А

I

С вечера в хрусткой тишине были слышны ямщицы колокольцы; должно быть, проехали со станции. Колокольцы прозвонили около усадьбы, спустились в овраг, потом бойко ~~хотя~~ от рыси — задребезжали на деревне и стихли за выгоном. В усадьбе их слышали.

Полунин сидел в кабинете с Архиповым за шахматным столиком. Вера Львовна была у ребенка, говорила с Аленаей, затем ходила в читальню-гостиную, рылась в книгах. Кабинет был большим, на письменном столе горели свечи, валялись книги, над широким кожаным диваном висело, поблескивая тускло, старинное оружие. В окна без гардин заглядывала лунная безмолвная ночь. В окно проходил телефонный провод, рядом стоял столб, и провода гудели в комнате, где-то в углу у потолка, однотонно, чуть слышно, точно выюга, — гудели всегда. Сидели молча, — Полунин, — широкоплечий, с широкой бородой, Архипов, — сухой, четкий, с голым черепом.

Пришла Алена, принесла молоко, простоквашу и творог.

— Милости прошу поужинать, чем бог послал, — сказала застенчиво, поклонилась, сложила руки под грудями, молодая, скромная, в белом платочек, с тихими глазами. Сели к столу, ужинали молча, рассеянно. Алена присела было, но скоро ушла — заплакал ребенок, с нею ушла и

Вера Львовна. Самовар шумел чуть слышно, вил тонкую верею, в унисон с проводами. Мужчины взяли с собой чай, вернулись опять к шахматам. Вернулась Вера Львовна, села на диван рядом с мужем, сидела неподвижно, напоминали глаза ее глаза некой ночной птицы — были неподвижны, сосредоточены.

— Посмотрели, Вера Львовна, Гойю?

— Просматривала историю искусства, потом сидела с Наташей.

— Удивительнейшая чертовщина! А вы знаете, есть еще живописец — Бокс. У того еще больше чертовщины. Его искушения св. Антония.

Заговорили о Гойе, о Боксе, о св. Антонии, говорил Полунин, незаметно перевел разговор на Франциска Ассизского, — читал сейчас творения Франциска, увлекался им, — его аскетическим приятием мира, — потом разговор иссяк.

Ушли Архиповы поздно, Полунин ходил провожать. Орион подошел к полуночному своему месту, мороз в безмерной тишине жестко колол, под ногами скрипел снег.

Возвращаясь, смотрел в пустынное небо, искал любимое свое созвездие Кассиопею, следил за Полярной. Затем задавал на ночь корм лошадям, поил их, угождал специальным посвистом; в конюшне было тепло, пахло конским потом, тускло горел на стене фонарь, лошади выдыхали парные серые облака, жеребец Поддубный косил большим наивным глазом, точно неумело следил. Запер конюшню, постоял на дворе на снегу, осмотрел запоры.

Алена в кабинете на диване постлала постель, сидела около в кресле, кормила грудью ребенка, склонив к нему голову, напевала тихо, без слов. Полунин сел рядом, говорил о хозяйстве, принял с рук Алены ребенка, качал его. В окна шли зеленые пласти лунного света. Полунин

думал о Франциске Ассизском, об Архиповых, потерявших веру и все же ищущих закона, об Аллене, о хозяйстве. В доме была тишина. Уснул быстро, спал бодро, крепким сном, к которому привык давно, после бессонных прежних ночей.

Над безмолвными полями проходила луна, — не спала, верно, этой ночью Ксения Ипполитовна Енишерлова.

II

День пришел белый, прозрачный, холодный, — тот, в которые дышится паром и на деревья, дома, изгороди садится иней. На деревне дым из труб пошел прямо, сизый. За окнами был опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к земле, дальше шли белые поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух — бел, солнце не выходило из белых же облаков.

Заходила Алена, говорила о хозяйстве, ушла палить к Рождеству свинью.

В читальной часы пробили одиннадцать, им ответили часы из зала, и сейчас же за ними прозвонил телефон; в пустынной тишине его звон прозвучал необычно и резко; в телефоне глухо, издалека зазвучал женский голос.

— Это вы, Дмитрий Владимирович? Дмитрий Владимирович, вы ли это?

— Да, но кто говорит?

— Говорит Ксения Ипполитовна Енишерлова, — ответил голос покойно и зазвучал взволнованно: — Это вы, мой аскет и искатель? Это я, это я, — Ксения...

— Ксения Ипполитовна, — вы? — Полунин спросил радостно.

— Да-да... О, да-а!.. Я устала метаться и быть на кончике острия, и я приехала к вам в поля, мой аскет,

где снег, снег, снег и небо... к вам, искатель... Примете ли вы меня? Вы простили мне тот июль?

Полунин стоял около телефона сгорбившись, лицо его было серьезно и внимательно.

— Да, я простил.

Одно лето, давно уже, часто Полунин и Ксения Ипполитовна встречали вместе июньские всходы, и по зарям, в матовой росе на террасе, когда горько пахло березами и меркнул хрустальный серп на западе, прощаясь до завтра, Полунин целовал свято наивные, думалось ему, Ксении Ипполитовны, в горьком березовом соке, чистые губы, и поцелуи эти были наивны и чисты. Но Ксения Ипполитовна потом смеялась над ними и покойно пила изнемогающую, протестующую страсть Полунина порочными своими губами, чтобы покинуть его потом, сменять на Париж и оставить после себя лоскутья любви чистой и страстной.

Были те июнь и июль, были с тем, чтобы принести радость и горе, добро и зло. Алена встретил Полунин уже уставшим, уже напшедшем свое. Жил один, с книгами. Алена встретил весной, сошелся быстро, просто, зачав ребенка, — напед в себе уже не страстные инстинкты, но инстинкт отцовства. Алена в дом пришла без венчания, тоже уже после весенней любви, пришла вечером, поставила в кухне на скамью свой сундучок, прошла в кабинет, сказала тихо:

— Вот я. Пришла, — и платком утерла уголки губ, красивых еще очень и скромных.

Ксения Ипполитовна приехала к запоздням, когда день уже меркнул и над снегами пошли синие полосы. Небо потемнело, налилось синей мутью, кричали под окнами на снегу снигири. Ксения Ипполитовна подъехала к парандому, позвонила, хотя Полунин ей отпирал уже. Прихожая была большая, светлая, холодная. Когда входила

Ксения Ипполитовна, на минуту упали на окна солнечные лучи, свет в прихожей стал теплым и восковым, — лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину в нем зелено-желтым, как кожица персика, — безмерно красивым. Но лучи погасли, свет стал синим, сумеречным, — Ксения Ипполитовна померкла, стала уставшей, постаревшей.

Алена поклонилась, Ксения Ипполитовна на момент приостановилась, верно раздумывая: — подать ли руку? подошла быстро, обняла Алену, поцеловала.

— Здравствуйте, я ведь старый друг вашего мужа. Руки для поцелуя Полунину не дала.

С тех пор, с того давнего лета Ксения Ипполитовна изменилась очень. Так же прекрасны были глаза, так же тонки и красивы были своевольные губы, прямой нос, изломанные брови, — появилось нечто, что напоминало поздний август. Носила раньше она светлые костюмы, — была одета сейчас в черное платье, рыжие свои нежные волосы заложила простым жгутом.

Прошли в кабинет, сели на диван. Свет стал синий, за окнами лежал синий снег. Мебель и стены в сумерках посерели. Полунин был очень серьезен и внимателен, заботливо стал около Ксении Ипполитовны. Алена ушла; уходя, смотрела на мужа долго и пристально.

— Я сюда прямо из Парижа. Это очень странно. Собиралась уезжать к весне в Ниццу, складывала вещи и нашла у себя в гардеробе гнездо мыши; мать убежала, и осталось три детеныша, — они были без шерсти и едва ползали. Я все дни проводила с ними, но на третий день умер первый, затем ночью оба остальные... И наутро я стала собираться в Россию, сюда, к вам, где снег, снег... Вы знаете, в Париже нет снега, а у нас скоро Рождество, русское Рождество.

Ксения Ипполитовна замолчала, скрестила пальцы, поднесла руки к щеке; были пальцы ее тонки и длинны,

с полированными ногтями; мелькнуло в лице сиротливое и грустное.

— Говорите, Ксения Ипполитовна.

— Я ехала нашими полями и думала о том, что жизнь здесь скучна и проста, как эти поля, но что жить здесь можно не только от вещей. Знаете, — жить от вещей. Меня зовут — я еду, меня любят — я позволяю любить, в витрине бросилась в глаза вещь — я покупаю. Если бы не было тех, кому не лень меня двигать, — я бы не двигалась... Я ехала нашими полями и думала о том, что так нельзя. И еще я думала о том, что приеду к вам и расскажу о мышах... Париж, Ницца, Монако, платье, английские духи, вино, де-Виньи, нео-классицизм, любовники... У вас все по-старому.

Ксения Ипполитовна встала, подошла к окну.

— Снег, синь как в Норвегии. В Норвегии я бросила Вальпянова. В Норвегии люди похожи на клейдействалей. Лучше России — нет. У вас все по-старому. Вы молчите. Вы простили — тот июль?

Полунин подошел, стал рядом.

— Да, прошил, — сказал серьезно. — Снег в сумерки всегда синий.

— А я не прошила того июня. А в читальней — тоже по-старому. Помните, мы читали вместе там Мопассана.

Ксения Ипполитовна пошла к читальней, отворила дверь, вошла. В читальней были книжные шкафы, где за стеклами стояли ровные золоченные томы, стоял диван и около него большой круглый полированный стол. В окна шли последние желтые лучи, свет здесь был не холодно-синим, как в кабинете, — восковым, теплым, и опять лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину необыкновенным — зеленым, а волосы — цвета малыв; глаза ее, большие, черные, пустые в своей глубине, смотрели упорно.

— Вам, Ксения Ипполитовна, бог дал величайшее — красоту.

Ксения Ипполитовна посмотрела пристально на Полунина, усмехнулась.

— Величайший соблазн дал мне бог... Вы мечтали о вере — нашли ее?

— Да, нашел.

— Вера — во что?

— В жизнь.

— Ну, а если ни во что не верить?

— Невозможно.

— Не знаю. Не знаю... — Ксения Ипполитовна положила руки на голову. — В Париже и Ницце меня ищет сейчас японец Чики-сан. Я не знаю, — знает ли он про Россию. Я, вот уже неделю, — как умер последний мышонок, — не курю, а раньше я курила египетские. Да, — невозможно не верить.

Полунин подошел быстро к Ксении Ипполитовне, взял ее руки, опустил их; были его глаза очень внимательны; он сказал серьезно и тихо:

— Ксения, не надо грустить. Не надо.

— Вы меня любите?

— Как женщину — нет, как человека — да, — ответил твердо, тихо.

Усмехнулась, опустила глаза. Пошла быстро, села на диван, поправила черную свою юбку, улыбнулась.

— Я хочу быть чистой.

— Вы очень чистая. — Полунин сел рядом, сгорбился, поставил локти на колена.

Молчали.

— Вы постарели, Полунин.

— Да, постарел. Люди стареют, но это не страшно, если они нашли.

— Да, если — нашли. А теперь — как? Почему — Алена?

— Что же, я устал... Рублю дрова, топлю печи, живу, чтобы жить, читаю Франциска Ассизского, думаю и мне очень грустно, что это никогда не повторится. Он, я знаю, смешон, — но у него вера. А Алена — я люблю ее, навсегда.

— А вы знаете, как пахнут маленькие мышата?

— Нет. Это зачем?

— Они пахнут, как новорожденные — дети людей, конечно, у вас дочь, Наташа. Это самое главное.

Солнце померкло, на западе осталась в холодных облаках огромная красная рана, снега были фиолетовыми, в комнатах стала лилово-черная муть. Вошла Алена, из раскрытой двери в кабинет слышно было, как громко гудели провода, — по полям к вечеру пошла колкая серая поземка.

Вечером поднялись и пошли по небу поспешные мутные облака, и в них луна плясала. Крутилась — свивалась, ползла поземка, ветер дул по-стариковски, злобно и колко. Было в полях сиротливо, непокойно и нехорошо, темными провалами заливалось небо.

В семь пришли Архиповы.

Ксения Ипполитовна знала Архиповых давно, еще до их свадьбы, знали друг друга безразлично. Архипов поцеловал руку Ксении Ипполитовны, здороваясь, заговорил о загранице, — знал и уважал Германию. Перешли в кабинет, разговаривали, немного спорили; говорить, собственно, было не о чем. Вера Львовна молчала, как всегда, уходила к Наташе. Полунин был тоже молчалив, ходил по комнате, заложив руки назад. Ксения Ипполитовна, верно бессознательно, шутила с Архиповым тоном своеобразным, кокетливым, — Архипов отвечал серьезно, точно, покойно, — не умел вести разговоров легких и острых, чувствовал, верно, неловкость. Заговорили о Рождестве; Ксения Ипполитовна доказывала, что Рожде-

ство надо провести шумно, с сочельником, со святками, тройками, с Новым годом. Из пустяков, из того, что Ксения Ипполитовна утверждала некий промысел в святочном гадании, вспыхнул между Полуниным и Архиповым спор о старейшем, — о вере и безверии. Архипов говорил покойно и твердо, Полунин волновался, путался и сердился. Архипов утверждал, что вера, как и все чувства, как инстинкт, — не нужна и вредна, что есть единственное непреложное — ум, что нравственно только то, что разумно. Полунин ответил, что умное и неумное — не мерilo жизни, ибо — разумна ли жизнь? — что без веры — смерть, что в жизни непреложна лишь трагедия веры и духа.

— А вы знаете, что такое мысль, Полунин, — мысль?

— О, да. Знаю.

— Не улыбайтесь, ведь вы знаете, что мысль убивает все? Продумайте, промыслите трижды ваше святое — и оно будет простым, как стакан лимонада.

— Но смерть?

— Смерть — это уход в ничто. Это всегда у меня в запасе, — когда будет скучно. Пока мне хочется жить и делать.

Когда спор уже иссякал, Вера Львовна сказала покойно, как всегда, и тихо:

— В жизни трагично только то, что нет ничего трагичного, а смерть — смерть только одна, когда человек умирает физически. Поменьше метафизики.

Ксения Ипполитовна слушала спор непокойно, настороженно — горячо ответила Вере Львовне.

— Но все-таки есть трагедия — отсутствие трагедии?

— Да. Только одна.

— А любовь?

— Нет. Любви — нет.

— Но вы же ведь замужем?

— Я хочу ребенка.

Ксения Ипполитовна сидела с ногами на диване, поднялась на колени, протянула руки, крикнула:

— А-а? Ребенка! Это не инстинкт?

— Это закон.

Заспорили женщины. Затем спор иссяк. Архипов предложил преферанс. Раскрыли зеленый столик, поставили по углам свечи, играли не спеша, молчаливо, со старинной записью, по-зимнему. Архипов сидел прямо, положив локти на стол, держал их под прямым углом. За домом свистел ветер, выюга разрасталась, где-то сиротливо, тоскливо скрипело, хлябало железо. Пришла Алена, села около мужа, сидела тихо, скрестив на груди руки. Коротали вечер.

— Последний раз я сидела за преферансом в шхерах, в маленькой деревенской гостинице, была страшная буря,— Ксения Ипполитовна заговорила задумчиво.— Нет, в жизни есть большие трагедии и маленькие трагедийки.

Ветер свистел упорно, тоскливо, в окна хлестала метель.

Ксения Ипполитовна засиделась до позднего часа, Алена упрашивала ее оставаться ночевать,— не осталась, уехала.

Полунин провожал до оконицы. Поземка летела стремительно, больно кололась, свистел ветер, была кругом зеленая, снежная муть, луна прыгала наверху в облаках. Лошади шли трудно, шагом. В полях был мрак.

Возвращался Полунин один, без дороги; ветер дул в лицо, снег слепил глаза. Заходил убирать лошадей; Алена встретила его у кухни, поджидала,— было лицо ее тихим и скорбным; подошел к ней, обнял, поцеловал.

— Не грусти, не бойся. Тебя одну люблю, только. Знаю, отчего затомилась.

Алена взглянула благодарно и нежно, улыбнулась застенчиво.

— Ты не понимаешь, — одну любить. Другие этого не умеют.

Над домом вился ветер, в доме была тишина. Прошел в кабинет, сел к столу; заплакал ребенок, ходил со свечей к нему, принес его Алена, Алена кормила. Ребенок был маленьким, хрупким, красным,— нарождал безмерную нежность в сердце Полунина. Одиноко светила затекшая свечка.

На рассвете прозвонил телефон. Полунин встал уже. Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах была синяя муть, окна замело снегом, выюга стихла.

— Я вас разбудила, вы уже легли? — говорила Ксения Ипполитовна.

— Нет, я уже встал.

— Чтобы бодрствовать?

— Да.

— А я только что приехала. Буран кружил нас полями и без дороги, все дороги замело... Я ехала и думала, думала,— о снеге, о вас, о себе, об Архипове, о Париже... О, Париж!.. Вы не сердитесь, что звоню я, о, мой аскет... Я думала о нашем разговоре.

— Что — думаете?

— Вот... вот, мы с вами говорили... но вы простите,— ведь так вы не можете говорить с Аленой. Она ничего не поймет?.. Как же, — как?

— Можно совсем не говорить и все понимать. Есть нечто, что соединяет без слов не только меня и Алену, но меня и весь мир.

— Ну да... — Ксения Ипполитовна сказала тихо,— простите, — баба Алена...

— Я ее люблю, и у меня от нее дочь.

— Ну да. А мы любим без детей... мы встаем не утром, а днем, и днем скучаем, чтобы веселиться ночью, когда вы

разумно спите, — крикнула Ксения Ипполитовна. — Мы «гейши фонарных свечений», — помните у Анненского? Ночью мы сидим в ресторане, пьем вино и слушаем ночное кабарэ. Любим без детей... А вы? — вы живете разумно, правдивою жизнью, ищете правду... что же!? — правда!.. — крикнула зло, насмешливо.

— Это несправедливо, Ксения, — Полунин ответил тихо, опустив голову.

— Нет, погодите! Тоже из Анненского: «и было мукою для них, что людям музыкой казалось...» мы — «гейши фонарных свечений», но — «нет у Киприды священней несказанных нами люблю...»

— Это несправедливо, Ксения.

— Несправедливо? — крикнула, расхохоталась и вдруг затихла, заговорила скорбно, еле слышно: — «но нет у Киприды священней несказанных нами люблю...» люблю-у... Милый, тогда, — в том июне я смотрела на вас, как на мальчика, а теперь я кажусь себе маленькой, маленькой, а вы — большим, который защитит... Как сиротливо было ночью одной в полях! Но это — искупление... Вы единственный, кто любил меня свято. Спасибо вам, но у меня нет уже веры.

Рассвет был серым, медленным, холодным, красно бурел восток!

III

После Парижа встретил Ксению Ипполитовну старинный дом, опиравшийся на свои колонны целое столетие, архитектуры классической, с фронтом, двухсветною залою, с гулкими коридорами, с мебелью, застывшей так, как ставилась она последний раз при прадеде, — встретил дом, уже отживший, ее, последнюю в роде, безразлично и хмуро, холодными комнатами, темными и страшными ночью, многолетней пылью. Прежнее помнил один вет-

хий лакей, — помнил прежних господ, старую барскую ширь; горничная, что приехала с Ксенией Ипполитовной, не говорила по-русски.

Поселилась Ксения Ипполитовна в комнатах матери; сказала старику, что порядок будет прежний — по старинным правилам. Тогда же старик сообщил, что при старых господах в сочельник собирались родные и близкие, а под Новый год — весь уезд, все дворянство «даже без приглашения почитало за долг» приехать, и что теперь же надо готовить запасы.

Поднимал старик Ксению Ипполитовну в восемь, подавал кофе и после кофе говорил сурово:

— Вам надо, барыня, пройтись, прогуляться по хозяйству, а потом в кабинет книги читать и записать приходо-расходы, управляющий придет. Так барин всегда поступали.

И делала все так, как указывал старик, — по прежнему порядку, была тиха очень, покорна, печальна, читала толстые наивные книги, те, где «ш» путалось с «т». И лишь иногда, тайком от деда, звонила Полунину и говорила с ним долго и боязно, с тоскою, ненавистью и любовью.

На святках катались на тройках, гадали; Ксении Ипполитовне выпала из воска колыбель; ездили в город ряженными, заезжали на любительский спектакль в клуб, Полунин рядился лешим, Ксения Ипполитовна — лешего дочкой, березницей. Ездили к соседям помешикам. Святки стояли ясными, морозными, с красным утренним солнцем, с восковым от солнца дневным светом, с длинными синими вечерами.

IV

К Новому году, к шумному балу в доме, старик поднял суматоху, чистил паркеты, расстипал ковры, наливал лампы, расставлял новые свечи, доставал из сундуков

сервизы и серебро, заготавливал нужное для гадания, — к вечеру дом был готов, парадные комнаты блестали огнями, у дверей стояли парнишки из села.

Ксения Ипполитовна проснулась в этот день поздно и не вставала, лежала до обеда в кровати, туда ей приносили кофе и завтрак, лежала неподвижно, закинув руки за голову. День был яркий, в окна шло солнце, и золотые солнечные лучики падали на глянцевитый пол, отражаясь, раскидывали зайчиков по темным стенам в штофных обоях. За окнами холодно блестел синий снег с узорными следами птиц. Над конным двором стало небо, синее и пустое. Спальня была большой, сумеречной, в коврах; у внутренней стены стояла двухспальная кровать под балдахином, в углу кивот. Лицо Ксении Ипполитовны было скорбно и утомлено. Перед обедом принимала ванну, долго одевалась, обедала одна, вяло, медленно, с книгой в руках. За окнами в парке перед сумерками кричали вороны, птицы разрушения. С вечера ненадолго поднимался новорожденный месяц, красный и хрупкий. Вечер в морозе стал ясным и тихим. Звезды казались огромными, небо — атласным, синим, снег — бархатным, зеленоватым.

Полунин приехал рано. Ксения Ипполитовна встретила его в диванной; горел камин, лампы не было, у камина стояли два вольтеровых кресла, окна, закругленные вверху, в инее, были, казалось, серебряными. Отсветы из камина падали оранжевые, теплые.

— Я грущу сегодня, Полунин.

Была Ксения Ипполитовна в черном вечернем платье, волосы заплела в косы, руку для поцелуя подала.

Сидели рядом в креслах.

— Я ждала вас в пять. Сейчас шесть. Вы все невежи и невнимательны к женщине. Вы ни разу не захотели побыть со мной наедине, — не догадались, что я хочу этого, — говорила Ксения Ипполитовна тихо, немного хо-

лодно, смотрела упорно в огонь, щеки оперла узкими своими ладонями. — Вы очень молчаливы, дипломат... Как сегодня в поле? Холодно, тепло? Вам сейчас подадут чаю.

— Да, холодно, очень, но тихо, — сказал не сразу, помолчал. — Когда мы с вами говорили, вы не сказали всего. Говорите сейчас.

Ксения Ипполитовна усмехнулась.

— Я уже все сказала... Холодно очень? Я сегодня не выходила. Думала о Париже и о том, — об июне... Сейчас принесут чай.

Встала, позвонила, вошел старик.

— Скоро чай?

— Несу, барыня.

Ушел и принес поднос с двумя стаканами, флаконом рома, печеньем, смоквой, медом, расставил на столиках у ручек кресел.

— Свету не прикажете?

— Нет. Ступайте... Притворите дверь.

Старик ушел, посмотрел внимательно и понимающе.

— Я вам уже все сказала. Как вы не поняли? Пейте чай.

— Говорите, Ксения.

— Пейте чай, подлейте рому. Я вам все уже сказала. Помните, о мышах? Вы не поняли? — говорила Ксения Ипполитовна холодно, тем же тоном, что и лакею, сидела в кресле прямо.

— Нет, значит, — не понял.

— Ах боже мой! Вы раньше чутки были, мой аскет. Хотя здоровье и счастье всегда не чутки, — вы ведь здоровы и счастливы.

— Вы опять хотите быть несправедливой. Вы ведь знаете, что я люблю вас.

— Ну, хорошо. Это пустяки.

Ксения Ипполитовна усмехнулась, взяла стакан, откинулась к спинке, помолчала. Полунин тоже взял чай, отпил сразу полстакана, согреваясь после дороги.

— Вот в печке сгорят огни и потухнет, и будет холодно. У нас с вами всегда надрывные разговоры. Быть может, правы Архиповы, — когда умно — надо убить, когда умно — надо родить. Разумно, умно, честно... — Ксения Ипполитовна говорила тихо, тоном мечтательным, замолчала на минуту, выпрямилась, стала говорить быстро, горячо, неровно: — Вы меня любите? А вы хотите меня — как женщину? — целовать, ласкать, — понимаете? Нет, молчите! Меня, очищенную, — я приду к вам так, как вы ко мне в том июне... Вы не поняли о мышах? Или так. Вы заметили, вы думали о том, что в жизни человека не меняется и остается одним навсегда? Нет, подождите... Было сотни религий, сотни этик, эстетик, наук, философских систем — и все менялось и меняется, и не меняется только одно, что все, все живущие, — и человек, и рожь, и мышь, рождаются, рожают и умирают... Я собиралась в Ниццу, там ждал меня любовник, нашла мышат, и вдруг мне безумно захотелось ребенка, маленького, милого, моего, — и я вспомнила о вас..! И я уехала сюда, в Россию, чтобы родить свято... Я могу родить!

Полунин встал около Ксении Ипполитовны, внимательное лицо его было серьезно и взволнованно.

— Не бейте меня, Полунин.

— Вы чистая, Ксения.

— Ах, вы опять с чистотой и грехом... Я глупая, с приметами и поверьями, баба, и больше ничего, — как все бабы. Я хочу здесь зачать, понести и родить ребенка. У меня под сердцем пусто. Хотите быть отцом моего ребенка? — Встала, выпрямилась, пристально посмотрела в глаза Полунина.

— Что вы говорите, Ксения? — Полунин спросил тихо, серьезно, горько.

— Что я хочу, я сказала. Я хочу ребенка. Дайте ребенка, а потом уходите, куда... к своей Алене... я помню тот июнь, июль...

Полунин выпрямился, сказал твердо:

— Я не могу этого, Ксения. Я люблю Алену.

— Я не хочу любви, мне не надо ее. О, я ее знаю!.. ведь я люблю вас... — Ксения Ипполитовна сказала тихо, едва внятно, провела рукой по лицу.

— Мне уйти, Ксения?

— Куда?

— Как — куда? Совсем.

Подняла глаза, взглянула ненавидяще и презирающе, крикнула:

— А-ах, опять эти трагедии, долги, грехи! Ведь просто же все! Ведь сходились же раньше вы со мною!

— Я никогда не сходился, не любя. Я люблю только Алену. Я думаю, я должен уйти.

— О, какой жестокий, аскетический эгоизм! — крикнула зло, но затомилась, стихла, села в кресло, закрыла лицо руками, замолчала.

Полунин стоял около, сгорбившись, опустив руки. Был он широкоплеч, широкобород, в блузке, лицо его было взволновано, глаза смотрели скорбно.

— Не надо, не уходите... Это так, это пустяки... Ну, хорошо... Я ведь говорила чисто... Не надо... Я устала, я измоталась. Верно, я не очистилась, я знаю, — нельзя... Мы — «гейши фонарных свечений» — помните Анненского?.. Дайте руку.

Полунин протянул большую свою руку, сжал тонкие пальцы Ксении Ипполитовны, рука ее была безвольна.

— Вы простили?

— Я не могу ни прощать, ни не прощать. Но — я не могу.

— Не надо... Забудем. Будем веселиться и радоваться. Помните: — «А если грязь и низость — только мука по где-то там сияющей красе...» Не надо, все кончено... О — о! все кончено!

Ксения Ипполитовна крикнула последние слова, поднялась, выпрямилась, расхочатась громко и нарочито весело.

— Будем гадать, будем шутить, веселиться, пить... помните — как наши деды!.. Но ведь наши бабки имели приближенных — кучеров.

Она позвонила. Вшел лакей.

— Принесите нового чаю. Подложите дров. Зажгите лампы.

Камин горел палеными огнями, освещал кожаные вольтеровы кресла, на стенах во мраке поблескивали золотом рамы портретов. Полунин ходил по комнате, заложив руки назад; звуки шагов утопали в коврах.

За домом зазвенели колокольцы тройки.

Гости съезжались к десяти, — из города, соседние помещики — все, кто «почитал за долг», по старинному обычаю, — их принимали в гостиной. Тапер — сын священника — заиграл на роялипольку-мазурку, барышни пошли в зал танцевать, старик и два парнишки принесли воску, свечей, тазы с водой — гадали. Ввалилась компания ряженых, медведь показывал фокусы, гусляр-малоросс пел песни. Ряженые принесли с собой в комнаты запахи мороза, меха и нафталина. Кто-то кукарековал, плясали русскую. Было весело, по-помещичьи — бесшабашно, шумно. Пахло топленым воском, горелой бумагой, свечным чадом. Ксения Ипполитовна была очень весела, шутила, смеялась, протанцевала тур вальса с лицеистом, сыном предводителя. Рыжие свои волосы переплела она из кос в большую прическу, на шею повесила старинное колье из жемчугов. В диванной старики засели за зеленые столы, шел толк об уездных новостях.

В половине двенадцатого лакей отворил двери в столовую, объявил торжественно, что ужин готов. Ужинали, говорили тосты, пили, ели, гремели сервизами. Около себя Ксения Ипполитовна посадила Архипова, Полунина, предводителя и председателя. В полночь, когда ожидали боя часов, говорила тост Ксения Ипполитовна, встала с бокалом в руке, левую руку закинула за прическу, голову подняла высоко. Все тоже поднялись.

— Я женщина. Я пью за наше, за женское, за тихое, за интимное, за счастье, за чистоту, за материество! — говорила громко, стояла неподвижно. — Пью за святое... — не кончила, села, склонила голову.

Кто-то крикнул «ура», кому-то показалось, что Ксения Ипполитовна плачет. Начали бить часы. Кричали «ура», чокались, пили.

Затем снова цили. Почетных гостей и запьяневших обносили «чарочкой», вставали, кланялись, пели «чарочку», басы гудели:

— Пей до дна, пей до дна!

Первую чарочку Ксения Ипполитовна поднесла Полунину, стояла перед ним с подносом, кланялась, не глядела на него, пела. Полунин встал, покраснел, смущенно развел руками, сказал:

— Я не пью вина, никогда.

Басы заглушили:

— Пей до дна! Пей до дна!

Полунин потемнел, поднял руку, останавливая, сказал твердо:

— Господа. Я не пью никогда, и не буду пить.

Ксения Ипполитовна посмотрела в глаза ему, сказала тихо:

— Я хочу, я прошу... Слышите?

— Я не буду, — ответил тоже тихо.

Ксения Ипполитовна крикнула:

— Он не хочет. Не надо насиливать волю...

Отвернулась, поднесла «чарочку» председателю, потом передала ее лицеисту, извинилась, ушла, вернулась тихо скорбная, сразу постаревшая.

Ужинали долго, потом перешли в зал, танцевали, пели, играли в фанты, в наборы, в пословицы, в омонимы, мужчины ходили в буфетную выпивать, старики сидели в гостиной за преферансом и винтом, толковали.

Разъехались гости к пяти, остались Архиповы и Полунин. Ксения Ипполитовна приказала приготовить у себя кофе; сидели вчетвером, уставшие, за меленьким столиком. Едва начинался рассвет, окна стали водянисто синими, свет свечей блекнул. В доме, после шума и беготни, замерла тишина. Ксения Ипполитовна была усталой очень, но хотела держаться бодро и весело. Разлила кофе, принесла кувшинчик с ликером. Сидели молча, говорили безразлично.

— Еще год канул в вечность, — сказал Архипов.

— Да, на год ближе к смерти, на год дальше от рождения, — ответил тихо Полунин.

Ксения Ипполитовна сидела против него, — глаз ее он не видел, — поднялась быстро, перегнулась через столик к нему и сказала медленно, ровно, зло:

— Н-ну-с, господин святой! Здесь все свои. Я сегодня просила вас дать мне ребенка, потому что и я женщина, и я могу хотеть материнства... я просила вас выпить вина... вы отказались? Ближе к смерти, дальше от рождения? Уби-рай-тесь вон! — крикнула и зарыдала, громко, сиротливо, закрыла лицо руками, пошла к стене, уперлась в нее и рыдала.

Архиповы бросились к ней. Полунин стоял растерянно у стола, вышел из комнаты.

— Я просила не страсти, не ласки, — у меня же нет мужа! — рыдала, вскрикивала, была похожа на маленькую обиженнную девочку, успокаивалась медленно, говорила урывками, бессвязно, замолкала на минуту, снова начинала плакать.

Рассвет уже светел, в комнату входили рассветные, не чистые, мучительные, водянистые тени, лица казались серыми, испитыми, безмерно утомленными; голова Архипова, плотно обтянутая кожей, голая, напоминала череп, лишь очень удлиненный.

— Слушайте, вы, Архиповы. Если бы к вам пришла женщина, которая устала, которая хочет быть чистой, пришла и попросила бы ребенка, — ответили бы вы так, как Полунин? — А он сказал: нельзя, это грех, он любит другую. Вы так бы ответили, вы, Архипов, — если бы знали, что у этой женщины это — последнее, одно? Одна любовь, — Ксения Ипполитовна сказала громко, всматривалась по-очереди в лица Архиповых.

— Нет, разумеется, ответил бы по-другому, — Архипов ответил тихо.

— А вы, жена, Вера Львовна, — слышите? Я говорю при вас.

Вера Львовна наклонилась к Ксении Ипполитовне, положила руку на ее лоб, сказала:

— Не печальтесь, милая, — сказала тихо, тепло, нежно.

Ксения Ипполитовна вновь зарыдала.

Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах посинело, свечи блекли, и их свет становился сиротливым и ненужным; из мрака выползали вещи, книжные шкафы, диваны. Через синюю муть в окнах, точно через толстейшее стекло, видны были службы, синий снег, суходол, лес, поля... Справа у горизонта покраснело холодно и багрово.

Полунин ехал полями. Поддубный шел машисто, ходко, верно промерз ночью. Поля были синими, холодными. Ветер дул с севера, колко, черство. Гудели у дороги холодно провода. В полях была тишина, раза два лишь, пиская однотонно, обгоняли Поддубного желтые овсяночки, что всегда зимами живут у дорог, обгоняя, — садились на придорожные вешки. В лесу потемнело, там еще не ушла окончательно ночь. В лесу Полунин заметил беркута, он пролетел над деревьями, поднялся в высоту, полетел к востоку, — на востоке кумачевой холодной лентой вставала заря, — снега от нее лиловели, тени же становились индиговыми. Полунин сидел сгорбившись, понуро думал о том, что — все-таки, все-таки от закона он не отступил, как не отступит теперь уже никогда.

Дома Алена уже встала, хозяйничала, — обнял ее, крепко прижал к груди, поцеловал в лоб, пошел к ребенку, взял его на руки и долго, с огромной нежностью, смотрел в спящее его, покойное лицико.

День был ярким, в окна ломились солнечные лучи, говорившие о том, что зима свернула к весне. Но плотно лежали еще снега.

Коломна.
Март 1917.

ЛЕСНАЯ ДАЧА

I

В оврагах лежал еще снег, бурый и рыхлый; из-под него стекали ледяные ручьи, но наверху снег уже стаял, и прошлогодняя трава, желтыми стрелками, смотрела в небо; на припеке появились первые желтые цветочки. В небе было много налито сумеречной, свинцово-тяжелой муты. Низко над деревьями пролетел стервятник, и по его лету стихали птицы, потом они снова гомонили, устраиваясь жить. Булькала разбухшая земля, ветер дул слабо, теплый и влажный, доносил откуда-то издалека весенние, гулкие шумы: не то людской говор из-за реки с села, не то птичий клекот с токов.

Лесничий Иванов вышел на высохшее уже крыльце и закурил папиросу; папироса медленно тлела в сгущающихся влажных сумерках.

Прошел с ведрами сторож Игнат и сказал:

— Теплынь-то, Митрич, — благодать!.. Мотри, завтра вальдинепа потянут, придется под самую Пасху на охоту иттить!..

Игнат ушел в скотник. Потом вернулся, подсел на ступеньку и свернулся собачку, к весеннему сладкому запаху прелой листвы и талого снега примешался горький махорочный запах. За рекою в церкви ударили; колокольный великопостный звон долго ныл в воздухе, разносясь над водою.

— Седьмое евангелие, надо полагать, — сказал Игнат. — Скоро и со свечками пойдут. Река летом — по пузо не будет, а теперь насилиу переехали на баркасе!.. Весна!.. Вычистить надо двустволку сегодня, обязательно. Игнат деловито сплюнул в лужу и крепко затянулся.

— Ночью, по всем приметам, журавли сядут за садом, ночевать. А завтра, стало быть, по тетеревам пойдем, — сказал Иванов и прислушался — к вечеру.

Игнат тоже прислушался, склонив мохнатую свою голову набок, к земле и небу, услыхал нечто нужное и сказал утвердительно:

— Надо полагать. Теперь самый ему лет... Нет мне этого приятнее.

— Завтра к рассвету дрожки заложи, поедем в Ратчинский лес, посмотрим. Верхом — ничего, проедем.

На террасу, справа от крыльца стремительно выбежала Аганька, дочь Игната, и стала выбивать пыль из тулуна тонким коричневыми воложками. Все же было холодно, и Аганька по-очереди поджимала босые свои красные ноги, запела визгливо, приплясывая на месте:

Поет соловей
На березке моей —
Не дает соловей
Спать голубке своей!

Игнат посмотрел на нее снисходительно-любовно и сказал строго:

— Девка — грех! — Пост, а ты поешь.

— Ну-к что ж! Теперь греха не бывает! — ответила Аганька, поджала правую ногу и принялась усердно хлестать, став ко крыльцу спиной.

Игнат погрозил в спину дочери всей ладонью, улыбнулся и сказал Иванову:

— Бойкая девка!.. Шешнадцати годов нету, а в люботу уж играет, ничего не поделаешь. Ночи не спит, все шмыгает.

Аганька круто повернулась, задрала голову и ответила отцу:

— Одно дело! Жив человек-от!..

— Жив, жив, доченька!.. А ты помалкивай.

Иванов посмотрел на девку, похожую на молодого звереныша, на молодое ее тело, на ее весенние глаза, почувствовавшие «люботу». В его глазах, уже усталых, помимо воли, должно быть, и бессознательно, скользнула грусть на одну минуту, потом он радостно, громче, чем надо, сказал:

— Что же, так и нужно, так и должно! Люби, гуляй, девка!

— Конешно, пущай гуляет. Молодость! — отозвался Игнат.

Опять ударили к евангелию. Сумеречной муты все больше наливалось в небо, на деревьях в зеленом воздухе кричали вороны. Игнат наклонил голову к земле, слушая. Издалека, из сада, от оврага, с выгона, долетел тихий, чуть слышный в весенне-настороженном зеленом гуле, журавлинный клекот. Волосатое лицо Игната вытянулось, стало сначала серьезным и внимательным, затем хитрым и взволнованно-радостным.

— Сели! Журавли! — сказал он возбужденным шепотом, точно страшился спугнуть их, и заторопился. — Двустволку надо смазать!

И Иванов тоже заторопился. По какой-то ассоциации, верно по той, что пойдет сейчас следить журавлей и увидит ее, увидел перед глазами своими, с осознательной явственностью, Арину, широкою, крепкою, горячею, в красном платке, со зверино-мягкими ее губами.

— Дрожки завтра на заре заложи, в Ратчинский лес поедем. — Я сейчас в лес пойду, посмотрю.

В кабинет Иванова зашли сумерки, в них слабо очерчивались бревенчатые стены, печь с растрескавшимися кафелями. У стены стояли верстак и диван, на письменном столе, заваленном беспорядочно всем, что сваливалось здесь временем, зеленое сукно было обильно закапано стеарином, — это осталось от долгих пустых ночей, которые Иванов проводил один. Под окнами валялась конская сбруя, — хомуты, чересседелки, седло, уздечки, — окна были большими, квадратными, пустыми, — в них по зимам ночами следили волки за желтым огоньком свечей. Сейчас за окнами было зеленовато-синее, весенне-мирное небо, с охровой полоской у горизонта, и на нем вычерчивались прозрачные, узловатые прутья кротегуса и сирени, посаженных под окнами.

Иванов зажег свечу на верстаке и, чтобы ускорить время, стал набивать машинкой ружейные патроны.

Вошла Лидия Константиновна, спросила: — подать ли чаю сюда или он придет в столовую?

Иванов от чая отказался.

Лидия Константиновна все годы революции жила в Крыму, прошлым же летом она приезжала в Марьин Брод всего на две недели, уехав потом в Москву. Теперь, встречать Пасху, приехала она не одна, — с ней приехал художник, о котором Иванов раньше никогда не слыхал, — Минтз. У Минтза было бритое лицо, с пенснэ в стальной оправе на серых холодных глазах и с длинными светлыми волосами; пенснэ он часто снимал и надевал вновь, отчего менялись глаза, становясь без пенснэ беспомощными и злыми, как у молодых совят днем; бритые губы его были сжаты сухо, уже утомленно, и в лице Минтза мелькало часто неверное и дряхлое; го-

ворил и двигался он очень шумно. Приехали они вчера в сумерках, Иванова не было дома. Вечером они ходили гулять. Вернулись во втором часу, когда уже едва-едва начинало сереть и был туманный холодок; их встретили собаки лаем, собакам ответил Игнат колотушкой. Иванов возвратился домой к одиннадцати, сидел у себя в кабинете под окном, слушал медленную настороженную ночь. В парке всю ночь кричали совы. Лидия Константиновна к нему не пришла, и он не пошел к ней.

Художника Иванов увидел первый раз днем в парке. Он сидел на подсохшей дерновой скамейке и пристально смотрел на реку. Иванов прошел мимо. В корявой фигуре Минтза было сиротливое нечто и очень утомленное.

Рядом с кабинетом Иванова находилась гостиная, у больших окон с погрязневшими стеклами еще остались от разрушения — ковер, кресла, кенкэты, стоял старый концертный рояль, висели портреты.

Из дальних комнат в гостиную вошли Лидия Константиновна и Минтз. Лидия Константиновна шла, как всегда, бодро, четко поступивая каблуками. Иванов вспомнил ее походку — упругую, четкую, при которой покойно покачивался красивый ее торс.

Лидия Константиновна подняла крышку рояля и заиграла бравурное, такое, что не шло к изжитой гостиной, затем хлопнула крышкой.

Аганька принесла поднос с чаем.

Минтз в сумраке ходил по комнате, стучал каблуками по паркету, и говорил шумно, хотя в голосе его была грусть.

— Я сейчас был в парке. Этот пруд, эти аллеи из кленов, вырождающееся, умирающее, уходящее, — они так и заставляют грустить. На пруду, где плотина, лед уже стаял. Почему нельзя вернуть романтический осьминад

цатый век и можно лишь грустить о халатах и трубках? Почему мы не знатные владетели?..

Лидия Константиновна усмехнулась и ответила:

— Ну, да. Это поэтический вымысел. Но в действительности это много, очень много хуже. В частности Марьин Брод никогда не был помещичьим гнездом, это — лесная дача, лесническая контора, и только.. и только... Я здесь всегда чужая. Я здесь второй день, и мне уже тоскливо... — В голосе Лидии Константиновны появилась грусть и едва уловимое раздражение.

— Действительность и вымысел? Наверное, я потому и художник, что мне всегда видится второе, внутреннее, преломленное в красоту, — сказал громко и грустно Минтз и добавил тихо: — Помните, — вчера?.. парк?..

— Ну, да, парк, — Лидия Константиновна ответила устало и тихо: — Сегодня двенадцать евангелий, девочкой я так любила стоять в церкви со свечкой, так хорошо делалось на душе. Ну, да! А теперь я ничего не люблю.

В гостиной стало уже совсем темно. Окна на темных стенах были зеленоватыми и зыбкими. Из кабинета вышел Иванов, в высоких сапогах, в кожаной куртке и с ружьем. Он молча направился к двери. Лидия Константиновна его остановила.

— Сергей, ты опять уходишь? На охоту?

— Да.

Иванов остановился.

Лидия Константиновна подошла близко к нему. У нее были подведены глаза, а на ее удивительно белой коже, у губ, на щеках, тонкими, едва заметными морщинками легло время, уже уносящее молодость и красоту, — это четко вспомнил Иванов.

— Разве ночью, во мраке тоже охотятся? Я не знала, — сказала Лидия Константиновна и повторила: — Я не знала...

— Я иду в лес.

— Я приехала после того, как мы не виделись много-много тысяч лет, и мы еще не говорили...

Иванов ничего не ответил и вышел. Его шаги пропустили по залу, потом по коридору и затихли далеко в большом доме; хлопнула черная входная дверь. Дом был старым, большим, разваливающимся.

Лидия Константиновна осталась стоять посреди комнаты, обратив лицо к двери. К ней подошел Минтз, взял ее руку и поднес к своим губам.

— Лит, не надо грустить, — сказал он тихо и грустно.

Лидия Константиновна освободила руку, обе свои руки положила на плечи к Минтзу и тихо сказала:

— Ну, да. Не надо грустить!.. Ну, да, слушайте, Минтз... Как все это странно! Он меня очень любил, я его никогда не любила... Но здесь прошла моя молодость, и мне сейчас грустно... Я помню все, что было в этой гостиной, тогда все было первый раз. И мне хочется, чтобы это вернулось. Быть может, тогда это было бы по-другому. Мне жаль моей юности сейчас, хотя раньше я ее проклинала, но мне не жалко всего, что было потом. Мне уюта хочется! Ну, да, а если бы вы знали, как он меня любил!..

Лидия Константиновна помолчала минуту, склонив голову, потом рассмеялась глухо и зло, закинув высоко голову.

— Ах, какие пустяки! Мы еще будем веселиться! Просто я устала. Как здесь душно!.. Минтз, откройте окна!.. Спустите шторы... Они здесь живут на черном хлебе и молоке, и счастливы, — но у меня есть бутылка коньяку, там, в чемодане, — достаньте! Зажгите люстры!

Минтз раскрыл окно. От земли потянуло бодрым холодком и влажными, сладкими весенними запахами. Небо было во мраке, по нему ползли весенние теплые тучи.

III

Небо было непроницаемым, индиговочерным, едва зелено мутной зеленью у запада, и там можно было уследить сырье низкие облака. Воздух был влажным, теплым, пахнущим землею и талым снегом. От реки, от оврага, с выгона, из леса, из парка шли разные, гулкие, тревожащие звуки. Ветер пал совсем. Иванов закурил папироску, и, когда вспыхнула спичка в ладонях, осветив только черную бороду Иванова, заметно было, что руки его дрожат. Из мрака подошел пойнтер Гек и стал ластиться у ног.

В церкви ударили к последнему евангелию; весенний мрак изменил, спутал расстояние, и казалось, что в колокол ударили рядом во мраке, за дачей. На дворе было безмолвно и темно, лишь в скотнике Аганька окрикнула раза два коров, и оттуда чуть слышно долетел звук падающего в подойник молока.

Иванов прислушался к церковному звону, к усадебной тишине, и бесшумно, привыкший к ночному мраку, ступил с крыльца большим своим сапогом, собаки его не услыхали, лишь Гек шел рядом. В парке с деревьев падали холодные капли, мрак здесь сгустился еще больше. Где-то близко прошумела прутьями сова и, пролетев уже, крикнула радостно-жутко. Земля была топкая, тяжелая, налипала на сапоги, скользила, связывая движения, и еще больше неизжитой, сладкой немоты было в теле.

Иванов прошел выгоном, спустился глинистым проселком в овраг, перешел его и по другому его краю, среди деревьев без дороги пошел к сторожке. Сторожка стояла на голом месте, около нее лишь поднимались к небу три вековые голостволовые сосны, сзади бурела насыпь. У сто-

рожки залаяла собака. Гек заворчал и исчезнул во мраке. Потом собаки стихли. На крыльце появился человек с фонарем.

— Кто там? — спросил он покойно. — Ты, Арина?

— Это я, — ответил Иванов.

— Ты, Сергей Митрич?.. угу!.. А Арина еще в церкви. В церкву уплыла!.. Глупостями займаться. — Сторож помолчал. — Пойти посветить, скорый сейчас пройдет, — вшивой... Зайдешь, может? Аринка теперь скоро... Струха дома.

— Нет, я в лес, — ответил Иванов.

— Как знаешь.

Сторож с фонарем поднялся на насыпь и пошел к мосту.

Иванов отошел от сторожки в лес, по краю оврага подошел к речному скату. Из леса на той стороне реки вынырнул поезд, его воспаленные глаза отразились в черной, точно масло, воде; поезд зашел на мост и прошумел по нему громко и черство... Был тот весенний час, когда, несмотря на многие шумы, все же была тишина, и слышно было, как дышала, впитывая в себя влагу, разбухшая, обильная земля, как выпрямлялись прутики, помятые снегом, как проталкивала новая, еще невидимая трава, земную кору. В овраге шумел ручей глухо, притихнув на ночь. Но все же так, точно в воде, полоскался проснувшийся по весне леший, — корявый и дерзкий. За оврагом, за лесом, за рекой, справа, слева, впереди, сзади, — еще не стихли на токах птицы. Внизу, в немногих шагах отсюда, была река, шла почти бесшумно, только издалека доносился слитый шелест струй. Небо стало еще темнее и ниже.

Иванов прислонился к березе, поставил рядом ружье и закурил. Огонек осветил белые стволы берез, прошлогоднюю высокую траву и тропинку под обрыв. По этой тропинке много раз ходила Арина.

В селе, на колокольне стали перезванивать, и в том месте, где была церковь, появились желтые огоньки свечей, потом стал слышен человеческий говор. Многие свечечки разбрелись вправо и влево, несколько пошло вниз к реке. По реке, над водою разнесся шум ударов ног по дну лодки и весел, кто-то крикнул:

— Погоди-и!.. Митри-ич!..

Звякнуло железо, верно лодочное кольцо. Потом стало тихо, и только свечечки показывали, что лодка пошла вверху, вышла на середину реки и стала спускаться вниз. Тогда опять стали слышны человеческие слова и шум весел, очень приближенные, точно где-то рядом. Кто-то из парней пошутил, девки сначала засмеялись, потом сразу притихли.

Лодка причалила около моста, долго возились, сажаясь перевозчик собирал бумажки, парни все хотели балагурить. Теперь можно было уже различить корявые тени людей, у которых были освещены грудь, колени и подбородок. Все шли по проселку вверх, от них отделилась одна свечка и пошла по тропке к сторожке, — Аринина. Иванов придерживал Гека, он рвался к берегу.

Арина шла медленно в гору, крепко ставя широкие свои короткие ноги в сапогах в лицкую грязь и дышала шумно. Свечка освещала ее грудь, большую, в красной кофте, которую было видно из-за расстегнутого дипломата; свет падал снизу на наклоненное ее лицо, отчего ясны были губы, сизые скулы, черные, коромыслами брови, глаз не было видно во мраке; глазницы казались огромными; мрак отодвигался от света, и выдвигались вперед белые стволы березок.

Иванов пересек дорогу Арине. Арина остановилась близко от него и вздохнула, горячее ее дыхание долетело до Иванова.

— Испужал как, — сказала она покойно и протянула руку. — Здравствуй. У двенадцать-евангелий была. Испужал как!

Иванов потянул руку Арины к себе, она отстранила ее, сказала строго:

— Нельзя, домой спешу, некогда. И не думай!

Иванов улыбнулся слабо и опустил руки.

— Ну, хорошо, ну, ладно. Завтра к ночи приду, жди, — сказал он тихо.

Арина пододвинулась к нему и ответила, тоже тихо:

— Сюда приходи. Здесь и погуляем, ну его, отца. А теперь уходи, спешу, уборка! А ребеночек у меня под сердцем, чую я... Иди, ступай!

Когда Иванов шел домой, выгоном, с черного невидимого неба стали падать крупные, теплые первые дождевые капли, падали сначала редко, шумно шлепаясь о кожаную куртку, потом западали часто, и все слилось в гулкий, весенне-дождевой шелест. Около дачи Гек бросился в сторону, к оврагу, там зашумели, курлыкая тревожно, журавли, — залаял Гек. В усадьбе откликнулись собаки, им ответили собаки в селе, затем еще где-то, совсем далеко, и над землею понесся весенний звонкий собачий лай.

В парке с главной аллеи на боковую юркнул огонек папиросы, потом Лу калитки Иванову повстречалась Аганька.

— Шмыгаешь все? Курильщика завела? — спросил Иванов.

Девка рассмеялась громко, побежала, шлепая по грязи, во мраке к скотному сараю, крикнула невинно:

— А молоко вам в кабинете на окно поставила!

Иванов постоял на крыльце, соскребая с сапог скребком грязь, потянулся крепко, размял мышцы, подумал, что сейчас надо лечь спать, спать крепко, бодро, чтобы встать завтра на заре.

В гостиной около рояли, над диваном и над круглым столом горела люстра, много лет уже не зажигавшаяся, верно с последнего Рождества перед революцией. Неяркий желтый свет свечей, поблескивая тускло в запыленных подвесках, освещал рояль, окна в плотных плюшевых шторах, портрет над диваном, диван, круглый стол, ковры, пуфы; там же, где были двери в зал и угловую, в другом конце комнаты, куда вошло уже окончательно разрушение, исчезли от неведомой руки стулья, кушетки, кресла и лишь была свалена рухлядь в углу, — туда не заходил свет, там были тени бурые и смутные. Шторы были плотно сдвинуты; за ними стала черная ночь и шумел дождь.

Лидия Константиновна долго играла на рояле, сначала бравурное, из оперетт, потом классиков, «Тринадцатую рапсодию» Листа, кончила же наивной музыкой «Летней ночи в Березовке» Оппель, — вещью, которую играла Иванову, когда была еще его невестой, — проиграла ее дважды. Затем оборвала музыку резко, поднялась и рассмеялась короткими, злыми смешками, пила коньяк из высокой узенькой рюмки мелкими медленными глотками и смеялась громко и зло. Были глаза ее еще красивы, красотою озер в листопад. Села на диван, откинувшись к спинке, закинув руки за голову, отчего поднялась высоко грудь в голубой кофточке; ноги свои, под шелковой черной юбкой, в ажурных чулках и лаковых ботинках, скрестила свободно, положила на низенький пуф. Пила коньяк очень медленно и много, присасываясь красивыми губами к рюмке, и злословила — о себе, об Иванове, о революции, о Москве, о Крыме, о Марыном Броде, о Минтзе.

Потом притихла, глаза поблекли, стала говорить уже тихо и грустно, с беспомощной улыбкой.

Минтз шил, ходил по гостиной, стучал громко каблучками, и говорил насмешливо, шумно и много. Коньяк шел по жилам, разжигая уставшую уже кровь, мысли становились четкими и недобрими, шли сухо и зло. Когда Минтз вышивал рюмку, он снимал на минуту пенснэ, глаза становились злыми, беспомощными и пьяными.

Лидия Константиновна села в угол дивана, прикрыла пледом плечи, поджала под себя ноги.

— Минтз, как пахнет шипром, — сказала она тихо. — Ну, да, я пьяна. Ну, да, когда я много пью, мне начинает казаться, что духов слишком много. Я задыхаюсь ими, я чувствую во рту их вкус, они звенят у меня в ушах, меня тошнит... Пахнет шипром, моими духами, — вы чувствуете?.. Через час у меня будет истерика. Это у меня всегда, когда я много пью. И мне уже не радостно, мне тоскливо, Минтз. Вот на этом диване я... как-то проплакала ночь... как тогда было хорошо! — Я плохо понимаю, что говорю.

Минтз ходил чересчур рассчитанными шагами. Он остановился против Лидии Константиновны, снял пенснэ и сказал хмуро:

— А я, когда пью, очень хорошо начинаю понимать все: и то, что нам тоскливо, потому что мы, шут его знает, чем и зачем живем, и то, что без веры жить нельзя, и то, что душа ваша истаскалась по кафе, мансардам и прочим «гие», и то, что мерзость всегда все-таки первым делом есть мерзость... И то, что сейчас мы пили, потому что нам тоскливо и пусто, как всегда, хотя мы и шутили, и громко смеялись. И то, что за окном сейчас весна и там радости и красоты много, не той, что в наших подведенных душах и глазах. И то, что революция прошла мимо нас, выкинув нас за борт, хотя сейчас и «нэп», наша

улица... И то, что... — Минтз не кончил, круто повернулся и пошел нарочито-уверенными, шумными шагами в темный конец комнаты, где была свалена рухлядь.

— Ну, да... Вы правы, что же... — ответила Лидия Константиновна. — Только ведь я не люблю Сергея, никогда не любила.

— Очень прав, — откликнулся строго из темного угла Минтз. — А других люди никогда и не любят. Себя через других любят.

Из зала вошел с ружьем, в фуражке и в грязных сапогах Иванов. Он прошел в свой кабинет. Минтз проводил его молча строгими глазами, потом пошел за ним, в кабинете оперся рукою о косяк, сказал, усмехаясь:

— Вы все время избегаете меня. Почему?!

— Это вам показалось, — ответил Иванов.

Он зажег на верстаке свечку и стал переодеваться, снял кожаную свою тужурку, повесил ружье, сменил сапоги.

— Мне очень редко кажется!.. Но это пустяки, — заговорил Минтз холодно. — Я хочу вам сказать о том, как у вас хорошо тут. У вас тут очень хорошо... Я вот пишу картины, продаю их и опять пишу, чтобы продать. Впрочем, теперь я не пишу ничего, уже давно... Живу по чердакам один потому, что мне нужно свету, и потому, что на чердак жену не потащишь... Да жены у меня и нет, она давно уже кинула меня! У меня — любовницы... И я завидую вам, потому что... потому что на чердаках очень холодно... Понимаете? — Минтз снял пенсне, его глаза стали беспомощными и злыми. — И от лица всех, кого измотало, кто весеннюю красоту парка меняет на эротику диванов, кто за диванами потерял Россию, — я говорю, что у вас очень хорошо, и мы вам завидуем. Тут и работать можно и даже — жениться... Вы никогда ничего не писали?

— Нет, не писал.

Минтз помолчал, сказал вдруг очень тихо и слабо:

— Слушайте! У нас есть коньяк. Выпьемте?

— Нет, благодарю. Я хочу спать. Покойной ночи.

— Поговорить хочется!..

Иванов потушил свечку, ощупью, по привычке, нашел на окне молоко и хлеб, стал есть, стоя и быстро. Минтз постоял немного у косяка, потом вышел, захлопнув плотно за собою дверь.

Лидия Константиновна сидела, опустив ноги на ковер, низко склонив голову. Ее глаза в длинных ресницах, точно осенние озера в камышах, были прозрачны и пусты. Руками она обхватила колени.

— Что Сергей? — спросила она тихо, не поднимая глаз.

— Он очень черств и лег спать, — ответил Минтз.

Он хотел сесть рядом с Лидией Константиновной, но она поднялась, машинально поправила волосы, улыбнулась слабо и нежно, в пространство, — не Минтзу.

— Спать? Ну, что же, пора спать! Всего доброго... — тихо сказала Лидия Константиновна. — Как мучат духи. Голова кружится.

Лидия Константиновна пошла в другой конец комнаты. Минтз пошел за ней. В дверях она остановилась. Был мрак, в котором четко слышался шум весеннего дождя. Лидия Константиновна прислонилась к белой двери, откинула голову и заговорила, не глядя на Минтза; хотела сказать серьезно и просто, и получилось сухо:

— Я очень устала, Минтз. Я сейчас же лягу спать. И вы ложитесь. До утра. Больше не увидимся сегодня. Понимаете. Минтз? Я не хочу.

Минтз стоял, расставив ноги, и, положив руки на свою талию, опустил голову. Он улыбнулся, верно, печально, и неожиданно мягко ответил:

— Ну, что же! Хорошо. Я понимаю вас. Хорошо.
Лидия Константиновна протянула руку и сказала так,
как ей хотелось, товарищески-просто.:

— Вы, я знаю, — циник, злой, одинокий, усталый,
как... как старый бездомный пес!... Но вы хороший и
умный... Вы знаете, я от вас никуда не уйду, — мы
такие... Но сейчас я пойду к нему... Верно, последний раз.

Минтз поцеловал руку, молча, и пошел, высокий, ко-
стистый, сутулясь немного, по коридору, шумно стуча
каблуками.

V

В спальне Лидии Константиновны, где, как раньше,
стояли двуспальная кровать из красного дерева под
балдахином, комоды, шкафы, шифоньерки, огромный гар-
дероб и пахло молочаем, — было темно и холодно. За
окнами шумел дождь.

Лидия Константиновна зажгла около мутного зеркала
две свечи. На комоде стояли туалетные безделушки,
оставшиеся еще от ее детства, валялись вещи, привезен-
ные вчера. Свечи горели слабо, потрескивая, их языки
мутно ползали по зеркалу.

Лидия Константиновна переодевалась, надела широкий
халат из зеленой карузы, переплела свои волосы в косы
и сложила их венцом на голове, голова стала сразу ка-
заться очень маленькой и хрупкой. По привычке открыла
флакон с духами, провела мокрыми в духах руками по
шее и груди, и сейчас же у нее закружилась голова. На
постели простыни были холодны и влажны, от них, каза-
лось, тоже пахло широпом.

Лидия Константиновна села на кровать, сидела долго,
в карузовом своем халатике, прислушиваясь к дому. На
даче все время выли и лаяли собаки. Изредка вскрики-
вали спросонья вороны на вязах в парке. Часы пробили

одиннадцать, потом половину, кто-то прошел по коридору,
Агаша убирала в гостиной, в угловой ходил Минтз, за-
тем стало тихо.

Лидия Константиновна подошла к окну, долго смотрела
во мрак. Потом бесшумно вышла из своей спальни и
пошла в кабинет к Иванову. Холодок, мрак и тишина
нежилых комнат подбирались со всех сторон. Комнаты
были большими, безмолвными, черными. В гостиной
мутно горела забытая свеча, от стола отбежала крыса.
В кабинете опять стал мрак, пахло столярным kleem
и сбруей.

Иванов спал на диване, лежа на спине, раскинув руки;
его едва можно было различить. Лидия Константиновна
села около него и положила руку ему на грудь. Иванов
вздохнул, передвинул свои руки и быстро поднял голову
от подушки.

— Кто тут? — спросил он.

— Это я, Сергей, это я — Лида, — ответила Лидия Кон-
стантиновна шепотом и быстро. — Ты не хочешь говорить
со мной. Я устала. Я приехала шутя, не думая о
тебе, и вдруг мне стало тоскливо... Ах, как мучат
духи...

Лидия Константиновна замолчала и провела рукой по
лицу. Иванов сел рядом.

— Что ты говоришь, Лида? Что тебе надо? — спросил
он охрипшим от сна голосом, закуривая папиросу; огонек
осветил их, сидящих рядом на диване, полураздетых.
Иванов был лохмат и громоздок.

— Что мне нужно?.. Люди стареют, Сергей, и страшна
одинокая старость... Я устала... Я приехала сюда шутя
и вдруг затосковала. Мне все вспоминается прежнее наше,
прошедшее... Я все играла «Летнюю ночь в Березовке», —
помнишь, я играла тебе ее? — тогда... Ну, вот... люди ста-
реют, и мне хочется своего дома... Сегодня двенадцать

евангелий... Неужели у нас уже нет слов друг другу?..
Ты был у Арины?

Иванов молчал.

— Я много тосковал и мучился, Лида, — но не в этом дело, — начал он. — Эти четыре года я прожил один, я прощался со старым, оно ушло навсегда. Я четыре года боролся со смертью, боролся за картошку. Ты этого не знаешь, мы чужие люди. — Да, был у Арины. У меня будет сын. Я не знаю, устал ли я или еще что-либо, но сейчас мне хорошо, Арину я приведу сюда, она будет хозяйкой и женой. И я буду жить... Я иду в ногу с какой-то стихией.... У меня будет сын... Идет другая жизнь, Лида.

— А в Москве по-старому — вино, театр, рестораны, Минтэз, шум. Я устала.

— Я не могу помочь тебе, Лида. Я тоже устал, и мне теперь покойно. Это делает каждый сам.

Иванов говорил очень покойно и просто. Лидия Константиновна обе свои руки сжала в коленах и сидела сгорбившись, неподвижно, точно было больно пошевельнуться. Когда Иванов смолк, она бесшумно поднялась и пошла к двери, остановилась на минуту в дверях и ушла. В гостиной все еще горела свеча. В доме была тишина.

VI

Рассветом, когда солнце еще не поднималось, в окно к Иванову крепко постучал Игнат и крикнул:

— Вставай, Митрич! Закладать сейчас буду!

Дождь перестал, был ясный утренний холодок. Пол неба горело розовым, а от земли шел серебряный туман. Иванов вышел на крыльце и вымылся там из ведра ледяной водой. Игнат возился с лошадью, покрикивал на нее.

— Сейчас, Митрич, кряквы пролетели, шут их дери! —
крикнул он весело.

Из скотного сарая вышла с подойником Аганька, за нею шумно бежали куры, ожидая утреннего корма. На деревне перед крыльцом, около скворешника, села скворчиха и стала пикивать, протяжно, однотонно; прилетели два скворца, щетинили перышки, грозно посвистывали, потом стали драться.

Никола-на-Посадьях.

Сентябрь 1922.

ГОД ИХ ЖИЗНИ

I

На юг и север, восток и запад, — во все стороны на сотни верст, — шли леса и лежали болота, закутанные, затянутые мхами. Стыли бурые кедры и сосны. Под ними — непролазной чащей заросли елки, ольшанник, черемуха, можжевельник, низкорослая береза. А на маленьких полянах, среди кустарника, в пластиах торфа, обрамленных брусникой и клюквой, во мху лежали «колодцы» — жуткие, с красноватой водой и бездонные.

В сентябре проходили морозы. Снег лежал твердый и синий. Только на три часа поднимался свет; остальное время была ночь. Небо казалось тяжелым и низко спускалось над землей. Была тишина; лишь в сентябре ревели, спариваясь, лоси; в декабре выли волки; остальное время была тишина, такая, которая может быть только в пустыне.

На холме у реки стояло село.

Голый, из бурого гранита и белого сланца, изморщенный водою и ветром, шел к реке скат. На берегу лежали неуклюжие, бурые лодки. Река была большой, мрачной, холодной, щетинившейся сумрачными синевато-черными волнами. Избы бурели от времени, крыши, высокие, выдвинувшиеся вперед, досчатые, покрылись зеленоватым мхом. Окна смотрели слепо. Около сохнули сети. Здесь жили звероловы. Зимой они уходили надолго в тайгу и били там зверя.

II

Весною разливались реки: широко, свободно и мощно.

Шли тяжелые волны, рябя речное тело, и от них расходился влажный, придавленный шум, тревожащий и неспокойный. Ставали снега. На соснах вырастали смолистые свечи и пахли крепко. Небо поднималось выше и синело, а в сумерки оно было зеленовато-зыбким и манившим грустью. В тайге, после зимней смерти, творилось первое звериное дело — рождение. И все лесные жители, — медведи, волки, лоси, лисицы, песцы, совы, филины, — все уходили в весеннюю радость рождения. На реке кричали шумно гагары, лебеди, гуси. В сумерки, когда небо становилось зеленым и зыбким, чтобы ночью перейти в атласно синее и многозвездное, когда стихали гагары и лебеди, засыпая на ночь, и лишь свербили воздух, мягкий и теплый, медведки и коростели, — на обрыве собирались девушки петь о Ладе и водить хороводы. Приходили из тайги с зимовий парни и тоже собирались здесь.

Круто падал яр к реке. Шелестела внизу река. А на верху стлалось небо. Притихало все, но чуялось в то же время, как копошится и спешит жизнь. На вершине обрыва, где на граните и сланце росли чахлый мох и придорожные травы, сидели девушки, сбившись в тесную кучу. Были они в ярких платьях, все крепкие и ядреные; пели они грустные и широкие, старинные песни; смотрели куда-то в темнеющую, зеленоватую мглу. Девушки пели неизбытые широкие свои песни эти для — парней. А парни стояли темными, взъерошенными силуэтами вокруг девушек, резко всогатывая и дебоширя, точно так же, как самцы на лесных звериных токах.

У гулянок был свой закон.

Приходили парни и выбирали себе жен, споря за них, и враждовали друг с другом; а девушки были безразлич-

ны и во всем подчинялись мужчинам. Спорили, всогатывая, и бились парни, шумели, и тот, кто побеждал, — тот первым выбирал себе жену.

И тогда они, он и она, уходили с гулянок.

III

Марине было двадцать лет, и она пошла на откос. Удивительно было сложено ее высокое, тяжелое немного тело, с крепкими мышцами и матово-белой кожей. Грудь ее, живот, спина, бедра, ноги очерчивались резко — крепко, упруго и выпукло. Высоко поднималась круглая, широкая грудь. У нее были черны очень — тяжелые косы, брови и ресницы. Черны, влажны, с глубокими зрачками были глаза. Щеки ее сизо румянились. А губы казались мягкими, звериными, красные очень и большие. Ходила она всегда, медленно переставляя высокие свои, сильные ноги и едва покачивая упругие бедра.

Она приходила на откос к девушкам.

Пели девушки свои песни — затаенно, зовуще и неизбыто.

Марина забивалась в кучу девушек, откидывалась на спину, закрывала затуманенные свои глаза и тоже пела. Шла песня, расходилась широкими и светлыми кругами, и в нее, в песню, уходило все. Закрывались истомно глаза. Ныло сладко болью неизбытое тело. Сжималось зыбко сердце, будто немело, а от него, по крови, шла эта немота в руки, в голени, обессиливая их, и туманила голову. И Марина вытягивалась страстно, немела вся, уходила в песню, и пела; и вздрагивала лишь при возбужденных, всогатывающих голосах парней.

А потом дома, в душной клети, ложилась Марина на свою постель; закидывала руки за голову, отчего высоко поднималась ее грудь; вытягивала ноги; открывала широ-

ко темные, туманные глаза; сжимала губы и, снова замирая в весенней томе, пролеживала так долго.

Двадцать лет было Марине, и от дня рождения росла она, как чертополох на обрыве, — свободно и одиноко — со звероловами, тайгой, обрывом и рекою.

IV

Демид жил на урочище.

Так же, как село, стояло урочище над рекой. Только выше был холм и круче. Близко подвинулась тайга; к самому дому протянули лесные свои лапы темнозеленые, буростволые кедры и сосны. Далеко было видно отсюда: неспокойную, темную реку, займища за ней, тайгу, зубчатую у горизонта и темносинюю, и небо — низкое и тяжелое.

Дом с бревенчатыми стенами, с белыми некрашеными потолком и полами, сделанный из огромных сосен, весь завален шкурами медведей, лосей, волков, пещца, горностая. Висели шкуры на стенах и лежали на полу. На столах лежали порох, дробь, картечь. В углах были свалены силки, петли, капканы. Висели ружья. Пахло здесь остро и крепко, будто собраны были все запахи тайги. Были две комнаты здесь и кухня.

В одной из комнат посередине стоял стол, самоделковый и большой, и около него низкие козлы, крытые медвежьей шкурой. В этой комнате жил Демид, в другой комнате жил медведь Макар.

Дома Демид лежал на своей медвежьей постели, долго и неподвижно, прислушиваясь к большому своему телу, к тому, как живет оно, как течет в нем крепкая кровь. К нему подходил медведь Макар, клал ему на грудь тяжелые свои лапы и дружелюбнонюхал его тело. Демид шарил у медведя за ухом, и чуялось, что они, человек и зверь, понимают друг друга. В окна глядела тайга.

Был Демид кряжист и широкоплеч, с черными глазами, большими, спокойными и добрыми. Пахло от него тайгой, здорово и крепко. Одевался он, — как и все звероловы, — в меха и в грубую, домашней пряжи, белую с красными прожилками, ткань. Ноги его были обуты в высокие, тяжелые сапоги, спитые из оленьей шкуры, а руки, красные и широкие, покрылись крепкой коркой мозоли.

Макар был молод и, как все молодые звери, — нелеп и глуп. Он ходил вперевалку и часто озорничал: грызсети и шкуры, ломал силки, слизывал порох. Тогда Демид Макара наказывал, — драл. А Макар переваливался на спину, делал наивные глаза и жалобно повизгивал.

V

Демид пошел на яр к девушкам, увел Марину с яра к себе на урочище, и Марина стала женой Демида.

VI

Летом росли, поспешно и сочно, буйные, темнозеленые травы. Днем светило солнце с синего и влажного, так казалось, неба. Ночи были белыми, и тогда казалось, что неба нет совсем: растворялось оно в бледной мгле. Ночи были короткими и белыми, все время алеи слитые зори — вечерняя и утренняя — и ползли зыбкие туманы над землей. Крепко, поспешно шла жизнь, чуя, что дни ее коротки.

У Демида Марина стала жить в комнате Макара.

Макар был переведен к Демиду.

Макар встретил Марину недружелюбно. Когда он увидел ее первый раз, он зарычал, скалясь, и ударил ее лапой. Демид за это его высек, и медведь стих. Потом Марина с ним сдружилась.

Днем Демид уходил в тайгу. Марина оставалась одна. Свою комнату она убрала по-своему, с грубой грацией. Развесила симметрично шкуры и тряпки, расшитые ярко-красным и синим, петухами и оленями; повесила в углу образ богоматери; обмыла полы; и ее комната, пестрая и все попрежнему пахнущая тайгой, стала походить на лесную молельню, где лесные люди молятся своим божкам.

Бледнозеленоватыми сумерками, когда проходила безнебная ночь и лишь кричали в тайге филины, а у реки скрипели медведки, Демид шел к Марине. Марина не умела думать, — ее мысли ворочались, как огромные, тяжелые булыжники, — медленно и неуклюже. Она умела чуять, она вся отдалась Демиду-мужу, и бледными, безнебными ночами, жаркая, пахнущая телом, разметавшись на своей медвежьей шкуре, она принимала Демида; и отдавалась, подчинялась ему вся, желая раствориться в нем, в его силе и страсти, избывая свою страсть.

Белые, зыбкие, туманные были ночи. Таежная, ночная стояла тишина. Шли туманы. Ухали филины и лешаки. Утром же красным пожаром горел восход и поднималось большое солнце на влажно-синее небо. Поспешно сочно росли травы.

Шло лето, проходили дни.

VII

В сентябре пошел снег.

Еще с августа заметно стали сжиматься и сереть дни, и вырастали большие, черные ночи. Тайга сразу затихла, занемела и стала пустой. Пришел холод и заковал льдом реку. Были длинными очень сумерки, и в них снег и лед на реке казались синими. Ночами, спариваясь, ревели лоси. Они ревели так громко и так необычно, что становилось жутко и вздрогивали стены.

Осеню Марина забеременела.

Раз ночью, перед рассветом Марина проснулась. В комнате было душно от натопленных печей и пахло медведем. Чуть начинало светать, и на темных стенах едва заметно синими пятнами светились рамы окон. Где-то близко около уроцища ревел старый лось: по грубому голосу с шипящими нотами можно было узнать, что это старик.

Марина села на своей постели. У нее кружилась голова и ее тошило. Рядом с ней лежал медведь. Он уже проснулся и глядел на Марину. Его глаза светились тихими зеленоватыми огоньками, будто сквозь щелочки было видно небо весенних сумерок, покойное и зыбкотихое.

Еще раз подступила к горлу тошнота, накатило головокружение, — и эти огоньки глаз Макара подсознательно и углубленно переродились в душе Марины в огромную, нестерпимую радость, от которой затрепетало больно ее тело, — беременна. Билось сердце, точно перепел в силках, и накатывало головокружение, зыбкое и туманное, как летние утра.

Марина поднялась с своей постели, — с медвежьей шкуры, — и быстро, нелепо-неуверенными шагами, голая, пошла к Демиду. Демид спал, — обхватила голову его горячими своими руками, прижала ее к широкой своей груди.

Понемногу серела ночь, и в окна шел синий свет. Лось перестал реветь. В комнате закопошились серые тени. Подошел Макар, вздохнул и положил лапы на постель. Демид свободной рукой взял его за шиворот и, трепля любовно, сказал ему:

— Так-то, Макар Иваныч, — домекаешь?

Потом добавил, обращаясь к Марине:

— Как думаешь, — домекает? Маринка!.. Маринка! Маринка!

Макар лизнул руку Демида и умно, понимающе опустил голову на лапы. Ночь серела, вскоре по снегу пошли лиловые полосы, зашли в дом. Красное, круглое, далекое поднялось солнце. Под обрывом лежали синие льды реки, за нею рубчато поднималась тайга.

Демид не пошел в тайгу в этот день, как и много еще дней после этого.

VIII

Пришла, пошла, проходила зима.

Снег лежал глубокими пластами, был он синим — днем и ночью — и лиловым при коротких закатах и восходах. Солнце, бледное и немощное, едва восходя над горизонтом, поднималось на три часа, казалось далеким и чужим. Остальное время была ночь. Ночами зыбкими стрелами лучилось северное сияние. Мороз стоял молочнобелым туманом, нацепливающим всюду иней. Была тишина пустыни, которая говорила о смерти.

У Марины изменились глаза. Были раньше они затуманенно-темными и пьяными, стали теперь — ясными удивительно, спокойно-радостными, прямыми и тихими, и целомудренная стыдливость появилась в них. У нее стали шире бедра и увеличился очень живот, и это давало ей некую новую грацию, неповоротливо-мягкую и тяжелую, и опять — целомудренность.

Марина мало двигалась, сидя в своей комнате, похожей на лесную молельню, где молятся божкам. Днямиправляла она несложное свое хозяйство: топила печь, варила мясо и рыбу, сдирала шкуры с убитых Демидом зверей, чистила свое урочище. Вечерами — вечера были длинны — Марина сучила на веретене основу и на стане ткала полотно; шила для своего ребенка. И когда шила, думала о ребенке, пела и улыбалась тихо.

Марина думала о ребенке, — неизбытая, крепкая, всеобъемлющая радость полонила ее тело. Былось сердце и еще

сильнее подступала радость. А о том, что она, Марина, будет родить — страдать — не было мыслей.

Демид утренними лиловыми рассветами, когда стояла на юго-западе круглая луна, уходил на лыжах с винтовкой и финским ножом в тайгу. Стояли сосны и кедры, вычерченные твердыми и тяжелыми узорами снега, под ними теснились колючие елки, можжуха, ольшаник. Стояла тишина, задавленная снегом. В мертвых беззвучных снегах шел Демид от капканы к капкану, от силка к силку, глушил зверя. Стрелял, и долго в безмолвии плясало эхо. Выслеживал лосей и волчьи стаи. Спускался к реке, караулил бобров, ловил в полынях очумелую рыбу,ставил верши. Было кругом все, что знал всегда. Медленно меркнуло красное солнце и начинали лучиться зыбкие стрелы сияния.

Вечером на урочище, стоя, разрезывал рыбу и мясо, вешал морозиться, кидал куски медведю, сам ел, мылся ледяной водой и садился около Марины, — большой, кряжистый, широко расставив сильные свои ноги и тяжело опустив на колени руки, от него тесно становилось в комнате. Он улыбался спокойно и добродушно.

Горела лампа. За стенами были снега, тишина и мороз. Подходил Макар и шебаршил на полу. В комнате, похожей на молельню, становилось уютно и спокойно-радостно. Трескались в морозы стены, в промерзшие окна смотрел мрак. Висели на стенах полотенца, шитые красными и синим, оленями и петухами. Потом Демид поднимался со своей скамьи, нежно и крепко брал Марину на руки и относил на постель. Тухнула лампа, и во мраке теплились тихо глаза Макара.

Макар за зиму вырос и стал таким, какими бывают взрослые медведи: сумрачно-серезным, тяжелым и неуклюжевловким. Была у него широкая очень, лобастая морда с сумрачно-добродушными глазами.

IX

С последних дней декабря, с снежного праздника, когда вышли волки, Марина стала чувствовать, как под сердцем у нее двигался ребенок. Он двигался там внутри, нежно и так мягко, точно гладилось тело поручней из гагачьего пуха. Марина полонилась радостью, — чуяла только того маленького, кто был внутри ее, кто изнутри взял ее крепко, и бесстыдные, бессвязные слова говорила Демиду.

По рассветам там, внутри, двигался ребенок. Марина прижимала руки — удивительно нежно — в животу своему, гладила его заботливо и пела колыбельные песни о том, чтобы из ее сына вышел охотник, который убил бы на своем веку триста и тысячу оленей, триста и тысячу медведей, триста и еще триста горностаев и взял бы в жены первую на селе красавицу. А внутри ее, едва заметно, чрезмерно мягко, двигался ребенок.

За домом же, за урочищем были в это время: туманный мороз, ночь и тишина, говорящие о смерти, и лишь иногда начинали выть волки, подходили к урочищу, садились на здание лапы и выли в небо, долго и нудно.

X

Весною Марина родила.

Весною всполошились и разлились широко реки, зарябились сумрачными, щетинящимися свинцовыми волнами, берега облепили белыми стаями — лебеди, гуси, гагары. В тайге пошла жизнь. Там творилось звериное дело рождения, лес настороженно гудел шумами медведей, лосей, волков, песцов, филинов, глухарей. Зацвели и поросли буйные темнозеленые травы. Сжалась ночи и выросли

дни. Лиловыми и широкими были зори. Сумерки были бледнозелеными и зыбкими, и в них на яру у реки, в селе девушки пели о Ладе. Утренними зорями поднималось большое солнце на влажно-синее небо, чтобы много весенних часов проходить свой небесный путь. Пришел весенний праздник, когда, по легенде, улыбается солнце, люди меняются красными яйцами, символами солнца.

В этот день Марина родила.

Роды начались днем. Весеннее, большое и радостное солнце шло в окно и обильными снопами ложилось на стены и на пол, покрытые шкурами.

Марина помнила только, что была звериная боль, корчащая и рвущая тело. Она лежала на медвежьей своей постели, в окна светило солнце, — это она помнила, помнила, что лучи его легли на стену и на пол так, как показывали они полдень, затем отодвинулись налево, на полчаса, на час. Потом, дальше все ушло в боль, в корчащие судороги живота.

Когда Марина опомнилась, были уже сумерки, зеленые и тихие. В ногах, в крови весь, лежал красный ребенок и плакал. Около стоял медведь и особенно, понимающе и строго смотрел добродушно-сумрачными своими глазами.

В это время пришел Демид, — он оборвал пуповину, обмыл ребенка и положил Марину как следует. Он дал ей ее ребенка, — удивительны были ее глаза. На руках у Марины был маленький, красный человечек, который беспричинно плакал. Боли уже не было.

XI

В эту ночь ушел от Демида медведь, ушел в тайгу, чтобы искать себе пару.

Ушел медведь поздно ночью, выломив дверь. Была
ночь. У горизонта легла едва заметная полоса восхода.
Где-то далеко девушки пели о Ладе. На обрыве из бу-
рого гранита и белого сланца сидели тесною кучею де-
вушки, пели, и около них, темными, взъерошенным си-
луэтами стояли парни, вернувшиеся с зимовий из тайги.

Коломна.
1916.

ЧИСЛА И СРОКИ

I

В томе X Свода Законов Российской империи, в книге второй, в отделении третьем разряда второго «о праве собственности в заповедных наследственных имениях» — были статьи:

«Ст. 485. Заповѣдное именіе признается собственностью не одного настоящего владѣльца, но всего рода, для коего оное учреждено, т.-е. всѣхъ принадлежащихъ къ тому роду лицъ, какъ уже родившихся, так и имѣющихъ впредь родиться, а потому ни именія, обращенные въ заповѣдныя, ниже какая-либо часть ихъ не могутъ быть отчуждаемы, ни безвозмездно, ни через продажу, ни посредствомъ иного какого бы то ни было акта или сдѣлки».

«Ст. 470. Заповѣдныя, по особому порядку наслѣдованія переходящія, имѣнія учреждаются по Высочайшему повелѣнію при самомъ пожалованіи сихъ имѣній, и с утвержденія Его Императорскаго Величества».

«Ст. 476. При обращеніи имѣній въ заповѣдныя наблюдалось, чтобы оныя въ общемъ составѣ своемъ заключали въ себѣ не менѣе десяти тысячъ и не болѣе ста тысячъ десятинъ удобной земли».

Своды законов — истории — хранятся теперь у архивных комиссий в подвалах, обрастают, как история, зеленым архивным грибком. У подвалов архивных окна в решетках, чтоб замуровать навеки «акты гражданских состояний».

Кто определяет сроки и числа людям — дворянству, потомству их и крестьянам, вот этим, запутавшимся в седьмой ревизской сказке, чтобы стать вольными хлебопашцами, переименовавшись из крепостных — в крестьян государственных? Архивным грибком истории — люди идут одиночками и ватагами: оба эти слова из свода законов.

Как возникло и как прошло деятое июля 1779 года, когда ее императорское величество императрица Екатерина II Алексеевна пожаловала князю Кириллу Дасиевичу Смоленскому вотчину Поречье со всеми землями, угодьями, лугами, лесами и крестьянскими душами, в заповедное владение, — и когда князь Кирилл Дасиевич Смоленский стал не князем Смоленским, а — Смоленским-Пореченским? Императрица Екатерина Алексеевна — с присовокуплением ко княжью гербу реки, символа вечного течения Леты, — пожертвовала сто тысяч десятин, — и император Павел I Петрович по этому, января первого 1801 года — уже Дасию Кирилловичу, сыну Кирилла без заповеда (ибо ста тысяч нельзя превышать по закону) пожертвовал Озерскую волость, чтобы округлить Поречье, ибо озера клином врезались в земли Пореченские.

И тогда возник из небытия новый срок — ровно через сорок пять лет после первого: деятое июля 1824 года генерал от инfanterии, его сиятельство князь Смоленский-Пореченский, вновь Кирилл Дасиевич, внук первого, — в преддекабрьской меланхолии, сделав заем в С.-Петербургском опекунском совете, под залог озерских земель с крепостными, — с тем (меланхолический жест в сторону правды и вечности!) — с тем, чтобы крестьяне села Озер вместо князя и господина своего Смоленского платили долг в опекунский совет и этой платой выкупались бы в свободные хлебопашцы: мечта о свободе — прекрасна; князь, почти на столетие, запутал мечтания крестьян. Декабрьское

восстание 25 года застало князя в Париже, князь вернулся в Поречье подагриком и рамоли, русским князем и французским баронетом, и умер. По России тогда маршировал Николай и мчал Гоголь.

Сын князя-француза, вновь Дасий, первый из рода не наехал ко двору, а всю жизнь и все силы потратил на борзы.

Впрочем, тема рассказа — не род князей Смоленских-Пореченских. Тема — числа и сроки. Никто никогда не узнает, какая погода была в дни этих двух десятых июль, — жарко ли, зноно ли и гроза ввечеру, как подобает в июле накануне Ольгина дня? — Никогда не узнается, что было бы, если бы не было этих двух десятых июлей, — они же возникли случайно, нет и не было необходимости в них: но тогда, в декабре 1917 года, из уездного суда в подвал архивной комиссии, на съедение грибку, отвезли дело на трех возах.

Два десятых июля возникли случайно, они могли возникнуть и в сентябре, и в апреле, в любое число, и могли не возникнуть совсем, — а Поречье и Озера были. В северной части Поречья, там, где сосны и ели и дуб еще чащугами и борами, покоряя березу, — круглыми кольцом обогнулась Ока у отрогов Среднерусской возвышенности, — там на границе трех губерний легли Поречье и Озера. По Поречью, по лесам, на сто тысяч десятин протекли две лесные речонки Велега и Ора. Озера клином врезались, легли по поэмам у Оки и у Оры, — там у озер стало и сельцо Озера; — Поречье в лесах, холмы да болота меж ними, глухо легло, — гиблое место. И вот, без чисел и сроков, каждую осень в лесах, когда леса притихают и ждут, что вот-вот выпадет снег, в лесах пахнет осенним грибом, леса пустынны, прозрачны и безмолвны, и лишь гудит собачьим лаем — собак, гоняемых по чернотропу за волками, лисицами

и лосями, — тогда в лесах расцветают, не случайно, татарские серьги. Меж сосен, по взгоркам, усыпаным хвоей, среди пустынных осин, лишь на верхушках, не сбросивших киноварных листов — совершенно голые прутья дикого кустарника расцветают красно-желтым, восковым с черным глазком — цветком-плодом, похожим на серьги и татарскими серьгами названным. Небо тогда зимне и вот-вот выпадет снег. Так хорошо тогда бродить там, где бродят волки, лисицы и лоси. И где-то далеко — осенний воздух на десятки верст разносит — рог охотничий гудит (или гудел) и диким звоном идет собачий лай. Земля черна и листья шелестят у ног, как мертвцы.

Тогда цветут татарские серьги, без чисел и сроков.

В особом приложении к тому IX Свода Законов Российской империи о состояниях, в книге первой общего положения о крестьянах была статья — двенадцатая:

«Ст. 12. Каждый членъ сельского общества можетъ требовать, чтобы из состава земли, пріобрѣтенной въ общественную собственность, быль ему выдѣлен, въ частную собственность, участокъ, соразмѣрно с долею участія въ приобрѣтѣніи сей земли».

II

Десятого июля 1824 года князь-рамоли Кирилл Дасевич сделал заем в С.-Петербургском опекунском совете, и крестьяне села Озера, для увольнения в свободные хлебопашцы, должны были вносить, как сказано в акте, «по шестьсот рублей ассигнациями, а на серебро по 171 рублю 46,6 копейки за каждую ревизскую душу по 7-й ревизии, а всего за 329 душ 197 400 рублей ассигнациями». Князь мог распорядиться, чтоб крестьяне просто вносили за него, без всяких прав и обязательств, — князь поступил

иначе, меланхолически, — князь отпускал за это крестьян с землею из крепостных — в государственных крестьян.

И через 24 года в 1848 году 16 июля, откупившись, крестьяне села Озера, по указу правительствующаго сената, переименованы из крепостных в крестьян государственных, сиречь в свободные хлебопашцы, и поступили в ведение департамента государственных имуществ — это дата небольшого события.

Но вот даты:

Дата первая.

Крестьяне с землями выкупались всем обществом. Каждая душа и участок (по 7-й ревизии) стоили 600 руб. ассигнациями, — и приговором сельского схода от 1836 года 30 января постановлено было крестьянами считать ценностью только земли и не считать за ценности души (души считать бесценными) и платить каждому по его мочи с тем, что, сколько раз он заплатит по 600 руб. ассигнациями, столько участков ему и потомству его и пойдет, а не платившие и потомство их — выйдут в свободные хлебопашцы без земли, и для этого, для регистрации взносов завести шнурковую книгу и храниться сей книге в уездном суде. Счет начинался с 7-й ревизской сказки. — И вот, когда через двадцать пять лет хватились этой книги, то оказалось, что этой шнурковой книги — нет. Говорили, что она сожжена или скрадена, но говорили, и, быть может, это так, что книги этой и не было никогда.

И — аналогичная первой — дата вторая.

По увольнении крестьян в свободные хлебопашцы 27 июля 1849 года приехали землемеры, чтобы сделать раздел земли и составить сему реестр по количеству душ (и потомков их) по 7-й ревизии и по количеству взносов. —

И опять впоследствии выяснилось, что, хотя и сохранился договор, где сто двадцать семь раз повторялось — «Къ сей доверенности Федоръ Ивановъ руку приложилъ. Къ сей довѣренности Абрамъ Лактіоновъ руку приложилъ» — и в конце было написано: «Къ сей довѣренности за неумѣющихъ грамоты села Озеръ крестьянъ Петра Гордѣева, Ивана Агапова (и так сто восемьдесят семь имен) по ихъ личному прошенію того села бурмистръ Семенъ Страченовъ руку приложилъ», — все же крестьяне никакого протокола такого не помнили и никакого реестра 27 июля 1849 года не было, — но крестьяне запомнили, как землемеры, пропъянистовав аккуратно у Маргуновых недели три, поблудив всласть, уехали во-свояси, — тогда встретились еще на горе с телегами Марчуков и Агапов. Агапов вез дуги и крикнул:

— Сворачивай, вишь, дуги везу!

Марчуков же ответил косноязычно:

— А я... везу просвещение! — и поднял рогожу с телеги, под коей вряд и вдрызг пьяные лежали два землера с инструментами, учитель и поп.

Пропавшие грамоты!

Чтоб запутать истоки воли крестьян и — этим — иную волю им дать — пропали грамоты? — Все это утекло бы в ту реку, символ вечного течения Леты, что была присовокуплена Екатериной II ко княжьему гербу Смоленских, если бы те, кто выходили «в свободные хлебопашцы без земли», не приладились бы жить той породой житъя, которой при речугах и реках в России живет разновидность людская — мартышки; — если бы эти не потащились по селам и весям шаромыжничать, хорошо познав, что значит поволжский вскрик «под табак», — и если бы те, что исправно платили долги (свои и чужие) по 600 руб. ассигнациями... —

Российская буржуазия возникла везде одинаково. Троє озерских крестьян — Антип Марчуков, Иван Щербаков и Сергей Бардыгин уходили в молодости — двое на Поволжье, один в Петербург, пропадали по несколько лет, слышно было о темных каких-то делах; вернулись все трое бородачами-староверами, женились на вдовах; вдруг появились деньженки; исподволь и верно вносились в пропавшую грамоту шестисотки ассигновками, а у ладных дворов на задах появились избушки с ткацкими станами. Вскоре такие избушки появились у многих, засветились масленками с конопляным маслом до двенадцатого часа ночи, — Марчуков, Щербаков и Бардыгин раздавали уже только основу, сами не работали. А лет через восемь тогда Щербаков-сын, Семен Антипович, а за ним наследники Марчуковых и Бардыгинах, — на пустоши, на болоте, — на шестисотках, — заложили кирпичные корпуса фабрик. На пустоши, на заброшенной земле, на болоте, где раньше ухала вынь да пугал ночных прохожего заблудлый филин, восстали из земли красные кирпичные корпуса, заревел гудок, затолпились люди, загородились заборы, засветили сотни окон непривычным с болотом светом; — филин исчезнул: из болота возникла Озерская мануфактура Марчуковых, Щербаковых и Бардыгинах с наследниками.

Проходили тогда шестидесятые годы, эмансипация, эпоха романтического материализма или, что то же, материалистического романтизма. Внук князя-рамоли, сын борзятника, опять Кирилл Дасиевич, вновь рамоли в деда, проектировал тогда овес сеять на зябь, под озимые, в частных беседах высказывался, что овес в таком случае не только даст сам-триста, но, быть может, превратится в ячмень или рожь, — и для культурных сельскохозяйственных его начинаний ему понадобилось обмерить заповедные земли. Поречье не мерилось с самого генерального

межевания, землемеры приехали к князю трезвые и — намерили не сто, а — сто три тысячи пятьсот двадцать семь десятин. По Своду Законов Российской империи значилось, что в заповедных имениях не может быть больше ста тысяч десятин: куда деть и как могли появиться эти три тысячи пятьсот двадцать семь десятин? — Земли озерские не были точно отрезаны от земель пореченских, и князь, материалистический романтик, собирающийся сеять овес под озимые, порешил эти три тысячи пятьсот двадцать семь десятин пожертвовать озерским крестьянам по действовавшей тогда девятой ревизии.

И вот тут-то, на целых шестьдесят лет, выпало гольтепе озерской и шаромыжникам — счастье. Гольтепе, «свободным хлебопашцам без земли», мартышкам — терять было нечего. История повторяется: в России, в XIX веке, возникла вольница средневековых вольных городов или, что еще необыкновеннее, — вечевая новгородская вольница. Сначала приказные судьи, потом мировые, а вконец земские начальники — восемьдесят девять раз, — разбирая дело озерских крестьян, все свои протоколы заканчивали фразой:

«Затемъ въ виду общаго шума и невозможности вести обсужденіе дѣль судъ (или сходъ) объявленъ закрытымъ».

Пропавшие грамоты — шнуровая книга 36-го года и реестр 49-го — пропали, и гольтепа запросила мануфактуру: — на каком на таком основании мануфактура поставила на общественном болоте корпуса и где у них имеются для этого реестры? — а если нет реестров, то извольте, господа фабриканты, платить такую аренду обществу на болото, по которой вам выгоднее снести корпуса, — а если вы не желаете, то мы, господа гольтепа, пожелаем, на основании ст. 12 Особого Приложения к

Своду Законов о состояниях, первые, так сказать, в России, выйти на отруба! — Гольтепа ухватила за горло господина буржуа. В драке волос не жалеют, — и господа фабриканты не сдались, — заварилась буча, война, — целых шестьдесят лет дрались, дважды добирались до Высочайшего Усмотрения, восемь раз разбирались в сенате, — но решали — нерешимое — главным образом на месте, старинным вечевым порядком скулосмешений и костоломств, о которых судьи писали — официально — в официальных бумагах:

«Затѣмъ въ виду общаго шума и невозможности вести обсужденіе дѣль судъ (или сходъ) объявленъ закрытымъ».

Для кулачных боев и крестьяне держали специальных бойцов. Для судов и сената фабриканты держали тысячного адвоката; у мужиков для судов обрелся односельчанин-ярыга Афанасий Чихирин, Петушинный Боец по прозванию, знавший все своды законов, все сенатские разъяснения и все озерское дело с первого девяностого июля — наизусть, свободные дни проводивший — в месте малого веча — в трактире за петушинными боями. Всю прибавочную ценность и все доходы со своих капиталов (часть заставляла, гонор!) — фабриканты спускали на взятки; село жило этими взятками и у него еще оставалось, чтобы взятки платить по начальству. Иногда фабрикантов припирали так, что им поистине выгодней было снести корпуса, чем заплатить за болото аренду, — и их спасало лишь то, что тогда-то, на том-то сельском сходе принимали участие те-то и те-то два человека, предки которых вписаны в общество по восемьной ревизии, а на основании сенатского разъяснения к статье такой-то уложения такого-то, правомочны были лишь те, предки которых записаны были в ревизию

с е д ь м у ю, — и дело начиналось вновь; иногда фабриканты прижимали крестьян, — но Петушиный Боец уже в последнюю инстанцию, в сенат, заявлял, что в дело вмешаны три тысячи пятьсот двадцать семь десятин, перешедших из заповедного имения от князя к крестьянам по договору и по девятой ревизии, кои являются самостоятельным делом, и сенат порешил за смешением обстоятельств дело отменить, новый сенатский указ о сем издавая.

Не случайно здесь слово — счастье. Крестьянам озерским, и мужикам, и фабрикантам, выпало быть — ушкуйниками. Числа и сроки! — путаница возникших случайных двух десятих иулей, потому и путанных, что они возникли с л у ч а и н о, дала волю людям делать по-своему, добиваться озорного какого-то права («не жалам!»), а воля быть вольным — есть счастье, ибо борение — есть жизнь и есть счастье. Счастье — ушкуйником быть. А, быть может, счастье — и вера в клад: а земли под фабрикой, гнилое болото — кладом явились.

Тема рассказа — числа и сроки. Вольная Новь городско-озерская вечевая — вольница — уперлась в революцию. И революция порешила все кратко: фабрики и болото под ними были национализованы; земли крестьянам были даны по разверстке по едокам, без всяких ревизских сказок; в доме Бардыгина в Озерах стал исполком, а в городе из уездного суда в архивную комиссию к грибкам отвезли дело на трех возах.

И все.

Так и запомним, что в России, в XIX веке ушкуйники жили, гольтепа, шаромыжники, мартышки, кои правду костоправством чинили и всенародно хотели обжулить друг друга.

III

«Правило 236. Б ъ л о е б и т о е т е л я ч Ѣ е м я с о. Нарѣзать телятины мякотной тоненькими ломтиками, побить гораздо съ обѣихъ сторонъ ножевымъ обухомъ, потомъ съ кусочкомъ коровьяго масла положить въ посудину съ крышкой и на вольномъ жарку дать сму въ собственномъ его соку упрѣть до поспѣлости, потомъ выдавить туда лимоннаго сочку, и потрясать ту посудину нѣсколько разъ надъ жаромъ, чтобы соусъ ровенъ былъ, такъ и готово».

Правило это звучит, о собственном своем соке и о лимонном сочке, пророчеством.

Правило это взято из книги, имя которой: «Новая полная поваренная книга, состоящая изъ 710 правиль, по которымъ всякъ можетъ съ лучшимъ вкусомъ желаемые кушанія приготовить, также садовые и огородные плоды сушить и другими способами впрокъ запасать, съ прибавлениемъ 52 наставлений о столовыхъ и прочихъ конфектахъ или закускахъ. Переведенная и объясненіями умноженная, Вольнаго Россійскаго Собранія, что при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, Членомъ Коллежскімъ Ассесоромъ Иваномъ Навроцкимъ; съ присовокупленіемъ наставлений, какъ всякия поваренные травы и коренья сушить и въ картузы вязать. Издание второе, вновь исправленное и умноженное. Москва, въ Университетской Типографіи, 1786 г.». Въ оной книгѣ правило это взято въ «Отдѣлениіи четвертомъ, въ коемъ писано будетъ о всякомъ дикаго и дворового скота мясѣ, также о дикихъ и дворовыхъ птицахъ, въ прямомъ и изрядномъ порядкѣ, и оныхъ двѣсти двадцать правиль».

И эти последние слова звучат пророчески. Книга эта найдена была в усадьбе, в доме князей Смоленских-Поречен-

ских. Какие углубленные слова — заповедное имение. Но по Своду Законов Российскому — заповедных имений нельзя было ни продавать, ни отчуждать, ни закладывать, ни сдавать в аренду, ни впускать в них предпринимателей.

За Поречьем, за Окой, через Оку на гору шел тракт, а усадьба стояла выше в лесу, над Окой. Раньше, лет сорок назад, по тракту тянулись обозы, везли в столицу из губерний Тульской, Орловской муку: но прошла рядом чугунка, и по тракту перестали ездить, остались лишь глубокие колеи, поросшие подорожником и целебной ромашкой, огромные — аракчеевские — березы по краям, да верстовой обгорелый столб. Место было грустное и скучное, как все Поречье, внизу текла Ока, на холмах росли ели и сосны. Каждый за годы великой войны и великой революции в России видел разрушенные дома, кварталы, а иной и целые города, и знает каждый, что верным спутником разрухи от растений идет бузина, как воронье и совы от птиц: с белого дома князей Смоленских-Пореченских была сорвана крыша, правое крыло рухнуло, опустившись бурым кирпичом в бузине. В доме, в левом крыле, жить уже нельзя было, все там было разрушено и изгажено нищетою и временем, — и все же в нем жил: кавказский генерал, не поймавший Шамиля, князь — вновь и последний раз — Кирилл Дасиевич Смоленский-Пореченский. Жил он один. Был он сухеньким старичком, с волосатой седой головой на красной шее, напоминал въезршившегося воробья. Была у князя одна единственная дочь, княжна Ксения, классная дама в Смольном благородных девиц институте, в Санкт-Петербурге. Она знала, как живет отец, но он писал ей в дни именин, рождений и больших праздников на княжеской своей, с гербом, бумаге длинные письма, в которых сказывался очень занятый общественными делами и хозяйством. На самом же деле, как знала дочь, князь ничего не делал. Жил он

в одной комнате, в угловой, около кухни, где потолки протекали только в грозы да весной, когда таял снег. Спал он на диване, не раздеваясь, покрываясь медвежьей полостью от троекных саней. Просыпаясь утром, он всовывал ноги в валенки, напяливал беличью куртку и ставил на кухне самовар, потом пил жидкий чай — много и долго, обжигаясь, разливая с блюдечка дрожащими руками и отдувая дряхлые небритые губы. Потом опять ложился на диван, перечитывал в двадцатый раз затрапанные книжки на русском языке (иных языков он не знал), или составлял в мыслях письмо, которое он пошлет к Рождеству княжне Ксении. В комнатах было холодно, не только на окнах, но и в углах садился иней. У него никто не бывал, кроме полицейского урядника из Озер Еремина. Князь делался сразу очень важным, когда заезжал Еремин, строго опускал лохматые, как усы, брови и был точь-в-точь как настоящий воробей. Еремин стоял у двери, а князь ему рассказывал, как был он кавказским офицером, чуть-чуть не поймавшим Шамиля, как представлялся он царю и пожимал его руку, как был на парадных царских выходах, банкетах, балах и обедах, как милостиво заметила его императрица и давала ему руку для поцелуя. Князь ударял себя в грудь, строго смотрел на Еремина и старческим басом выкрикивал:

— Что?! Что я говорю? Императрица мне протянула руку и сказала: «вы ужасный сердцеед...» Что?!

Еремин слушал внимательно, восхищаясь бескорыстно, вытягивался в струнку при окриках князя и говорил:

— Прекрасная жизнь, ваше сиятельство. Прекрасная! Восхитительная!

Иногда князь отpirал свой баул, вынимал оттуда кавалергардский мундир, треуголку, николаевку, ордена и показывал Еремину. Еремин разглядывал вещи и говорил:

— Восхитительно! Превосходно!

В тысяча девятьсот четырнадцатом году началась война, а к пятнадцатому, по России — по российским обычаям — по дорогам и весям потащилась разруха. Железные дороги не успевали всего перевозить, и тракт снова ожил, опять, как в старину, потянулись из Орла обозы с хлебом и овсом. Первую зиму этого не запрещали делать, но потом в Тульской губернии установили твердые цены и запретили вывоз оттуда, и тогда обозы потянулись тайком, потихоньку, и на тракте и на других переездах их стали ловить урядники и стражники и прочий люд, власть имущий, с тем, чтобы собирать с них полтинники и рублевки — за «нарушение обязательных постановлений»!

В зиму шестнадцатого-семнадцатого года, когда разруха пошла гулять злою старухой, озабоченней, и обозы тянулись все ночи напролет, каждый вечер урядник заезжал к князю с тем, чтобы вместе ити на старый тракт, ловить обозы и обирать рубли. Князь, редко бритый, с красными дряблыми щеками, надевал кавалергардский мундир павловских времен, шитый золотом, нацеплял ордена, шпагу, накидывал на плечи изъеденную молью николаевку, надевал треуголку и — они шли к переезду.

Князь хмурился и говорил:

— Что?! Беззаконие! Чорт знает!

Еремин всегда отвечал, поспешно, улыбаясь в усы:

— Ваше сиятельство, как уговаривались. Два цепковых с дуги мне, а рубль вам, ваше сиятельство. Как условлено.

— Что?! Чорт знает! — вскрикивал князь. — Риск ведь на мне весы! Что? Кто ты и кто я?!

— А я все это выдумал... А если меня с места прогонят, как вы думаете, ваше сиятельство? Вы генерал и князь, вам — ничего... Уж как уговаривались, а то я — не согласен.

— Ну, ладно. Только молчи. Чорт знает!.. Что?!

— Ладно — великолепно! Прекрасно, ваше сиятельство!

Днем никогда не проходили обозы, потому что стражники не пропускали окончательно. В январе стояли морозы нестерпимые. Князь распахивал шинель так, чтобы были видны его ордена, галуны и сабля, и обирал трешницы. Мужики подходили из мрака, молча платили засаленные трешки и вновь исчезали во мраке. Так тянулась ночь.

В начале марта тысяча девятьсот семнадцатого года было рождение дочери, и князь после многолетнего перерыва собирался послать ей подарок, хотел выписать от Елисеева фруктов, бананов. Днем он сочинял письмо к дочери. Вечером стал собираться ити на большак, пил перед морозною ночью чай. И тогда прискакал к князю Еремин и сказал, что в России революция, что Николай II уже отрекся от престола, что схвачен уже исправник. Нижняя челюсть Еремина дрожала как у собаки в позовуту.

— Что!? — вскрикнул князь. — Восстание?! Бунт?!

— Бунт, ваше сиятельство! Что делать — не знаю!..

— Пустяки, все уладится!

— Как уладится! Бежать надо! Не знаю, что делать!..

Так же быстро, как прибежал, исчезнул Еремин. Князь, готовый ити на облаву, стоял в кухне в шинели и треуголке, поглядывая кругом непонимающими глазами.

— Что?! Бунт? Не понимаю! Николай отрекся — не понимаю!

Князь постоял еще несколько минут, потом лицо его просветлело, он хлопнул себя по ляжке, бодро вскрикнул:

— Николай отрекся — это маневр!

И пошел один, без урядника, на тракт собирать рублевки.

В томе X Свода Законов Российской империи, в книге второй, в отделении третьем раздела второго «оправъ собственности въ заповѣдныхъ наследственныхъ имѣнияхъ» была статья 475:

«Ст. 475. Учредитель заповѣдного имѣнія можетъ присоединить къ своему родовому имени название того недвижимаго имѣнія или главнаго изъ тѣхъ имѣній, которыя входятъ въ составъ заповѣдного. Онъ можетъ также просить о помещеніи сего названія, или же о иномъ прибавленіи въ гербъ его».

И поэтому, — когда императрица Екатерина II Алексеевна пожаловала князю Кириллу Смоленскому земли Пореченские, князь Кирилл стал не Смоленским, а Смоленским-Пореченским, и к нижнему гербу присовокупилась река, символ вечного течения Леты.

Вместе с великой разрухой, пришедшей в Россию в дни великих войн и революций, побежали, расплодились по России забытые было волки. Лет пятьдесят, как забыли было в Поречье о волках, в революцию они вновь зарыскали по лесам. А в пятый год революции, как в старину по чернотропам и первым порошам, загудели в Поречье охотничьи рога новых охотников, приехавших из столицы. И тогда, осенью, без чисел и сроков, когда пахнет осенним (а не архивным) грибком, леса пустынны, призрачны и безмолвны, — тогда цветут, — татарские серьги.

Никола-на-Посадьях,
август 1921.

ШТОСС В ЖИЗНЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«...и каждый день был в театре. Что за театр! Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеймейстера; оркестр составлен из четырех кларнетов, двух контрабасов и одной скрипки, на которой пилит сам капельмейстер, и этот капельмейстер примечателен тем, что глух, и когда надо кончать или начинать, то первый кларнет дергает его за фалды, а контрабас бьет такт смычком по его плечу. Раз, по личной ненависти, он так хватил смычком, что тот обернулся и хотел пустить в него скрипкой, но в это время кларнет дернул его за фалды, и капельмейстер упал навзничь, головой прямо в барабан, и проломил кожу; но в азарте вскочил и хотел продолжать бой, и что же! О, ужас! На голове его вместо кивера торчит барабан. Публика была в восторге, занавес опустили, а оркестр отправили на съезжую. В продолжение этой потехи я все ждал, что будет?..»

30 декабря с линии, из крепости Грозной, приехал в полк поручик Лермонтов, целый год ехавший из Петербурга в ссылку к тенгинцам. Полк был размещен на зим-

ние квартиры в станице Развольной. Квартирьер отвел Лермонтову халупу на краю станицы, предложив его казакам вернуться в сотню. Лермонтов казаков оставил при себе, отослав квартирьера. Весь день Лермонтов пробыл у себя в халупе, устраиваясь жить, развешивая по стенам ковры и раскладывая трубки.

Была зимняя слякоть, тучи каждодневно мазали собою небеса, снег падал и таял, и падал вновь, полк бездействовал, в полку было скучно, весть о приезде гусара, разжалованного в пехоту, поэта, дуэлянта и бамбушера, очень скоро разошлась по офицерским квартирам, и Лермонтова поджидали в корчме, где помещалось офицерское собрание. Лермонтов в корчме не появлялся, через денщиков же узнали, что к Лермонтову приехал из Симферополя со столичными сундуками крепостной его человек, по имени Иван Вертуков, лакей по положению. Вертуков приехал в петербургской ливрее, и через окно видели, как Лермонтов с казаками и с Вертуковым, сидя на корточках на коврах, с засученными рукавами, пил чай, отдыхая от уборки. Полк был провинциален. Вечером подпрапорщик Вадбольский, влюбленный в легенды о Лермонтове, подглядывал в окошко, — казак выходил за калитку, чтобы цикнуть на ротозея. Через окошко была видна нищая казачья изба, выбеленная мелом. Лермонтов и его рабы бездельничали за трубками, Вертуков курил лермонтовскую трубку и брал табак из лермонтовского картуза. Бородатый казак рассказывал историю.

Огонь в окошке погас далеко за полночь.

На утро Лермонтов был в штабе полка и был зачислен приказом по полку — налицо. Лермонтов явился к командиру в полной пехотной форме; командир, уездный и боевой полковник, старый уже человек, покряхтел, покрутил пуговицу лермонтовского мундира и просил поручика пожаловать в собрание на встречу Нового года.

Лермонтов откланялся, командир покряхтел. В полку Лермонтова знали по наслышке, знаком с ним был только офицер артиллерийской роты Мамаев, но Мамаева не было на месте, он должен был вернуться к вечеру, и в офицерском собрании, в корчме, за биллиардом стало известно немногое, что: невысок, головаст, криновог, волосы темные и на самом лбу светлая прядь, одет небрежно, а пахнет английскими духами, глаза наглые.

Приказ же о зачислении «налицо» писарями пришивался ко Книге приказов, где наряду с Журналом военных действий, писалось примерно следующее:

«...Выходя такого-то числа, отряд в две роты штыков, сотню казаков и в одну пушку встретил на перевале к такому-то лесу сброд чеченцев в таком-то количестве. Хищники рассеяны по степи...»

«...Выходя такого-то числа, таким-то отрядом, напали на такие-то аулы. Аулы уничтожены дотла, население бежало в горы...»

«...В сожженом ауле таком-то в плenу остались одни грудные дети...»

«...Возвращаясь из экспедиции такого-то числа в таком-то составе, подверглись нападению обезумевших дикарей. Чеченцы лезли на штыки, не сообразуясь с никаким смыслом, картечь их не останавливала. Противник уничтожен весь до одного. Отмечаем беспредельную храбрость офицеров таких-то...» — то есть приказ о Лермонтове «налицо» был вписан в книгу, где рассказывалось без всяких прикрас о кавказской кампании Николая I, той кампании, которую следует по существу называть не войною, а организованным вы-

резыванием людей на Кавказе, ибо война протекала «экзертициями», когда горцы — старики, дети, женщины — уничижались поголовно, их аулы вынуждались и сравнивались с землей, их стада угонялись на кормежку русских солдат и в казачьи степи. Понятно, почему «дикари» «обезумели». Война шла во имя покорения Кавказа — Двуглавому Белому Орлу, дабы горцы были — «покорны»!

В корчме, нивесть каким образом, имелся биллиард. Офицеры понатащили туда ковров, трубок, шахмат и шашек. Вина продавал еврей-маркитант. Тридцать первое декабря было серым днем с утра, затем шел снег, к вечеру стало морозить, и облака ушли на Кубань. Было скучно, офицеры предпочитали с утра сидеть в собрании. По правилам фронтовой жизни строгости формы не соблюдались, — одевались, как вздумается, одни в артикульной форме, другие в черкесках, трети в выпшитых материями и невестами рубашках, — играли на биллиарде, курили, валялись на диванах, рассказывали всяческие истории. Собрание по существу было общежитием. Император Николай в золоченой раме величествовал со стены. Неожиданно и очень ненадолго приходил Лермонтов, — он перешагляя небрежностью одежды, — пришел в бурке, в папахе, их оставил на руках Вертукова в лакейской, в буфетную вошел в старых гусарских рейтузах и в красной канасовой рубахе, подпоясанной черкесским, с серебряным набором, ремешком. Откланялся офицерам, ни к кому не подошел, прошел в буфетную, заказал обед и вместо вина пил молоко, тяжестью глаз своих давил тарелки, ни разу не подняв их на подпрaporщика князя Вадбольского, который сидел против Лермонтова с бутылкой кахетинского. Лермонтов ушел сейчас же после обеда, Вертуков следовал на шаг сзади него, тараща по сторонам глаза.

В корчме притихло, пока там был Лермонтов, но, когда он ушел, никто ни словом не помянул его. Капитан Арапов в диванной закурил новую трубку и стал продолжать рассказ, как однажды гусары выиграли казначейшу. Юнкер Мещерский спросил:

— Арапов, ты помнишь, где это было?

— В Тамбове, — ответил Арапов.

— Жорж, так эта история описана поручиком Лермонтовым!

Было чистейшей случайностью, что лермонтовская «Казначейша» всплыла в памяти Арапова в день приезда Лермонтова. Арапов круто переменил тему: стал рассказывать, как при усмирении поляков гулялось с панenkами.

К вечеру приехал Мамаев, и Мамаев сейчас же пошел к Лермонтову. Они поцеловались, они сели на диван рядом, рука в руку. Ванюшка Вертуков принес свежую бутылку рома. Они вспоминали Пятигорск, госпожу Гоммер де Гэлль, Нину Реброву, водяное общество и водяные куры. За этими разговорами они пришли в собрание, Лермонтов был в сюртуке без эполет.

В собрании Мамаев возвестил:

— Михаил Юрьевич Лермонтов, новый наш товарищ, душа общества и укротитель дам! Охулки на... не кладет и банк мечет до последних брюк.

Офицеры решили, что Мамаев пьян. Командир полка, полковник Хлюпин взял Лермонтова под руку, повел представлять по чинам. Лермонтов был любезен и весел.

— До полночи, батенька, не дам ни рюмки, — говорил командир, — как хотите, — если душа не терпит, бегайте к жижи на кухню. В полночь выпьем здравие государя императора, за воинство и за тенгинцев, и тогда — как хотите!

Лермонтов и Мамаев сели играть в шахматы, но партии кончить не удалось. Стол окружили офицеры. В го-

стиной, готовясь к полночи, варили жженку и, как всегда бывает в таких случаях, не умели варить как следует,— призвали Лермонтова, Лермонтов снял сюртук. Штаб-офицеры сели за большой шлем, молодежь сломала колоды для штосса. Лермонтов с засученными рукавами и с половником в руке поставил карту, ее убили, он бросил золотой, отыграв, вернулся к жженке.

— Господа,— сказал князь Мещерский.— Сегодня святки, на севере в России, у нас в усадьбах, в Москве, в Петербурге,— по всей России сейчас в каждом доме — собрались наши сестры, невесты, любовницы, и все гадают и рассказывают святочные истории... Вадбольский, я уверен, что сейчас какая-нибудь Мэри или Китти или попросту горничная Дашка, вздыхает по вас, забившись куда-нибудь под шубы и чихая от нюхательного табака... И за воротами спрашивают, как будут звать их жениха, а на самом деле думают о вас, князь Вадбольский!.. Попросим Лермонтова рассказать какую-нибудь святочную историю. Попросим, чтобы он придумал, чем и как нам погадать!

Лермонтов рассказать историю — согласился охотно. Он сходил к столу, взял карту, карту били.

— На счастье! — сказал Лермонтов и вернулся к жженке.— Я вам расскажу странную историю,— заговорил он.— В Петербурге эта история хорошо известна. В Петербурге проживал художник Лугин, человек, принятый в большом свете, и большой чудак. Светские забавы ему были чужды. Он только что вернулся из Европы, где осматривал мастеров живописи. Петербургские туманы заразили его спирином, аглицкой болезнью. И во сне и наяву ему стал неведомый голос твердить адрес: в Столлярном переулке у Кукушкина моста, дом титуллярного советника Штосса,— заметьте, мы играем сейчас в штосс!— квартира номер двадцать семь. И так ежечасно. Лугин

никогда не слыхал даже о Кукушкином мосте. Наконец он решил разыскать квартиру номер двадцать семь. Адрес, пригрезившийся во сне, оказался действительностью. Плешивый дворник сказал, что дом только на днях перешел к титуллярному советнику Штоссу, а раньше принадлежал купцу Кифейкину, который разорился. Лугин был удивлен. Дворник рассказал, что квартира номер двадцать семь — недобрая квартира, никто в ней не живет, а некоторые жильцы переезжали — все разорялись. Лугин осмотрел квартиру. Квартира была запущена, с пыльной мебелью, некогда позолоченными, со скрипящими сосновыми полами, в обоях, на которых по зеленому грунту нарисованы были красные попугаи и золотые лиры. Висели на стенах портреты. И один портрет поразил Лугина. Это был человек запоздневных лет, в халате, с табакеркою в руке, с перстнями на пальцах. Портрет был плох, казалось — он написан ученической кистью,— но в выражении лица, особенно губ, дышала невыразимая жизнь. Губы были насмешливы, ласковы, злы и грустны одновременно. Портрет был зловещ и разителен, и он был неизъясним. Лугин снял эту квартиру ради этого портрета и ради вести о том, что здесь живет нечто недоброе. Не принадлежа уже своей воле, он послал людей в трактир Донона, где стоял, за вещами и к вечеру расположился в новом своем кабинете, расставив по местам свои холсты. Надо заметить, что на самое видное место он положил папку незаконченных карандашных и акварельных рисунков, на которых было рисовано одно и то же лицо — эскиз женской головки. У каждого человека есть идеал женской красоты, которую каждый человек ищет до конца своих дней,— это были наброски фантазии художника, его мечта, его видение... Непостижимая лень охватила художника, кисти валились из его рук. Свечи на столе и в канделябрах закачали свет свой и стали чадить. При-

ближалась полночь. И вдруг тогда за окном заиграла шарманка, она играла незнакомый стариинный немецкий вальс. Эта музыка в полночь была необыкновенна. Стариин лакей вошел в кабинет оправить свечи. «Ты слышишь музыку?» — спросил Лугин. «Никак нет, сударь!» — ответил Никита. «Пошел вон, дурак!» — молвил беспрекословно Лугин. Музыка продолжалась, и необыкновенное беспокойство овладело Лугиным, ему хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Все жизненные силы напряглись в нем, он сразу вспомнил всю свою жизнь. Облик той девы, которую он видел в грезах и ради которой жил, наклонился над ним. Лугин впал в транс. Шорох шлепающих туфлей привел его в память. Он поднял голову. Страшного портрета не было на стене. В доме была могильная тишина. Тогда скрипнули половицы, пропела дверь, и в комнату, со свечою в руке, в халате, в ночных туфлях, вошел — тот самый стариин, который был изображен на портрете... Но не это было главное, — вслед за стариином, во плоти, опустив глаза, в подвенечном платье — шла та дева, образ которой навсегда мучил своею божественностью воображение художника. Его мечта, его смысл жизни, — она была во плоти... И поэт не заметил стариинка, шлепающего к нему туфлями, он весь был поглощен видением любви, которая была выше жизни. Дыхание погреба повеяло на Лугина от стариинка, — музыка рая неслась от девы. Стариин поставил на стол свечу и положил новые колоды карт. «Позвольте представиться, — сказал стариин, — титулярный советник Штосс!» — «Хорошо, — сказал Лугин, — мы будем играть на жизнь!» — «Што-с?» — спросил титулярный советник. «Прошу без шуток! — вскричал Лугин, — мы играем на жизнь и на красоту!» — «Не угодно ли, я вам промечу штосс? — ответил стариин, делая вид, что он не слышит, и положил на стол клюнгер, — я играю только на деньги»...

Лермонтова перебили.

— Господа офицеры, через десять минут полночь! Прошу за столы! — крикнул полковник Хлюбин. — Поручик, вы успеете еще дорассказать вашу страшную историю. Долг требует выпить здоровье его величества!

Офицеры двинулись к столам. Лермонтов остановил понтера, спросил:

— Что же, еще карту? Стариин научил нас не ставить на карту желаний и дев. Я ставлю золотой.

Лермонтов проиграл, вернулся к жженке. Его помощники суетились, он был задумчив. Офицеры уходили из диванной вслед за командиром. В комнате стало тихо. К запаху табака примешался запах жженого сахара, сахар горел, облитый коньяком, синие огни бегали, как гномы. Шум перешел в соседнюю комнату, в буфетную. Синие гномы бегали по сладости сахара. Вестовые тушили свечи. Несколько офицеров обступило Лермонтова.

— Михаил Юрьевич, — сказал Мещерский, — конечно, это ваше новое творение. Вы второй раз возвращаетесь к теме карточного выигрыша женщины. Первый раз это было в тонах реализма, именно в «Казначайше». Прошу вас, продолжайте рассказ ваш. Стариин мистичен, — тем не менее он играл только на деньги...

У Лермонтова были тяжелые глаза. Он был низкоросл, и все же казалось, что он на людей смотрит сверху вниз, и он не умел глядеть в глаза людей — именно потому, что он был низкоросл. Лермонтов обратился к Вадбольскому:

— Знаете, прапорщик, в вашем возрасте я выигрывал женщин без карт.

Вадбольский не понял, Мещерский покраснел, как принято краснеть девицам. Молвил Мамаев:

— Полно, Мишель, продолжай твой рассказ. Скоро полночь.

Лермонтов ответил не сразу, очень серьезно — так серьезно, что серьезность можно было принять за пародию.

— Нечего продолжать, полковник перебил меня на месте,— сказал Лермонтов тихо,— я все уже кончил. Лугин хотел играть на жизнь, ибо его мечта о деве стоила жизни,— он хотел, чтобы старик поставил на карту эту деву. Старик поставил клюнгер. Мистические силы — и те играют на деньги, скучно... А вы правы, Мещерский,— я никогда не думал о совпадении казначейши со Штоссом,— это совершенно не случайно.— Лермонтов помолчал.— Вы говорили, что горничная Дашка ждет Вадбольского, Мещерский,— вы свалили с больной головы на здоровую, не так ли?..

Стенные часы стали бить полночь. Офицеры побежали в буфетную к столу. Пили здоровье государя императора Николая Павловича. Офицеры кричали «ура»,— и потому, как они кричали, можно было с уверенностью заключить, что пьяны были офицеры задолго до полночи. Вскоре тосты спутались, пили и приветствовали каждый по своему усмотрению, на свой салтык. Тогда молодежь стала требовать тоста от Лермонтова! Притащили грузинский рог, выбрали тамаду. Тамада передал рог Лермонтову. Круг офицеров затих — одни в безразличии, другие в недовольстве, трети в восхищении. Соседи Лермонтова вышли из-за стола. Офицеры на конце стола встали на стулья. Лермонтов был бледен и опять очень серьезен тою серьезностью, которую можно принять за пародию, в руке у него был рог, полный кахетинского. Настала тишина.

— Господа офицеры! — крикнул Лермонтов и добавил очень тихо: — я пью — за смерть!..

Не все рассыпали, слово смерть прошелестело объяснением. Лермонтов пил рог, полуприкрыв глаза. Рог, в котором было несколько бутылок вина. Лермонтов

пил не отрываясь. Офицеры не нарушили тишины. Вены на висках Лермонтова надулись, но лицо бледнело. Лермонтов опустил пустой рог и опустился к столу.

— В чем дело, поручик? — спросил командир. — Что, за странные шутки!

— Это очень серьезно, господин полковник, — ответил Лермонтов, подняв тяжелые веки. — Покойной ночи, господа офицеры, нового счастья!

Лермонтов поднялся со стула и пошел к двери, офицеры расступились, Вертуков подал бурку и упал, потеряв равновесие, к ногам Лермонтова. Лермонтов вышел, не поднимая глаз, Вертуков малость полз на четвереньках, затем стал на ноги. Мамаев вышел вслед за Лермонтовым.

На улице подмерзло, и светили звезды, воздух был свеж и колок. Лермонтов шел быстро, кривоногий человек. Мамаев догнал его, пошли рядом. Светила в небе громадная луна. Лермонтов остановился на перекрестке, поджидал ползущего Вертукова, смотрел вдаль, улыбнулся луне и стал вновь серьезен. Вертуков сидел на снегу.

— Видишь, — сказал Лермонтов Мамаеву, — вон в том месте Эльборус, — видишь, там под луной блестят его ледники. — Лермонтов стал торжественен. — Это я вижу первый раз Эльборус ночью.

— Да там ничего и не видно, — ответил Мамаев.

— Смотри! — Лермонтов указал сторону, где вдали под луной должны были быть ледники хребта, вечное покойствие. Там был мрак. Выли в станице собаки. Лермонтов долго смотрел во тьму пространства.

— Мишель, — заговорил Мамаев. — Почему такой странный тост — за смерть?

— Это очень серьезно. Конечно! Смерть — единственное реалистичное. Умрет старик-командир, умрем мы, уми-

рают наши любовницы. А мы, солдаты, прямо к тому и существуем, чтобы умирать.

— Но ты сегодня же говорил иначе, вспоминая Жанну. Мне говорили, будто бы ты скакал на тележке в Крым, чтобы догнать ее...

Лермонтов ответил не сразу.

— Что же, и м-м Гоммер де-Гэлль тоже умрет, — а Эльборус останется.

— Ты действительно ездил к ней?

Лермонтов не ответил. Офицеры двинулись к дому Лермонтова.

— У меня был случай в жизни, — заговорил Лермонтов. — Даже смерть есть также пустяки!.. — Ванюшка, налился, сукин сын! — обратился он к денщику. — Ползи вперед, зажги свечей, согрей чаю, — да не спали спящего избы, подлец!.. — Это было в Тифлисе. Я шел в баню и встретил красавицу-грузинку. Я пошел за ней, на углу она поманила меня. Я позвал ее в номер. Она пошла вперед и вскоре вернулась, опять поманив меня. Она сказала, что суббота, бани полны, и невозможно пройти туда незамеченным. Я позвал ее к себе, она отказалась. Я ее не пускал, она была прелестна. Тогда она сказала, что соглашается... Она сама найдет место — только чтоб я поклялся сделать, что она велит. Я поклялся. Я пошел за ней в туземный квартал. Она принюдила меня на коврах и мутаках, она была упоительна. Тогда она потребовала выполнения клятвы. Она просила меня вынести труп. Мне стало страшно. Она повела меня по темной лестнице куда-то вниз, в подвал дома. Там, завернутый в татарский саван, лежал мертвый. Я и не подозревал, что я предаюсь объятиям в доме, где лежал труп. Она поцеловала меня, толкая к мертвому. Мне стало дурно, но я поднял мертвого и поволок его в сад. Она мне помогала. Мы пошли закоулками, остерегаясь прохо-

жих. Отдыхая, мы целовались. Я бросил труп в Куру, сняв с него незаметно кинжал. Я обернулся. Женщина исчезла. Я пошел искать ее дом и ничего не нашел. Мне сделалось совсем дурно. Я пришел в сознание только на утро на гауптвахте, куда меня отнесли дозорные. Кинжал мертвого был при мне. Я посвятил в тайну моих товарищей. Мы отправились на розыски. Мы не смогли найти дома. Тогда мы пошли с кинжалом к Геургу, оружейному мастеру, потому что кинжал был его работы. Геург сказал, что он сделал этот кинжал русскому офицеру. Мы приказали Ахмету найти следы этого офицера. Ахмет разыскал денщика, нам стало известно имя. Денщик сказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе с дочерью, а затем пропал без вести. Денщик повел нас к дому, где жила старуха, этого дома я не знал, в доме никто не жил. Мы ничего не нашли. Я мечтал встретить мою грузинку. И я ее встретил. Я шел ночью по караван-сараю и увидел ее с грузином. Она узнала меня, она подала мне незаметный знак, чтобы я не узнавал ее и шел за нею. Я пошел следом. Они вышли к Куре, пошли на мост около Метехского замка. Я шел за ними. Вдруг оба они возникли передо мною. Он спросил, как меня зовут. Я ответил. Он крикнул, как смею я волочиться за его женой. У нее в руке был кинжал, она была прекрасна. Я понял, что кинжал этот приготовлен для груди грузина. Он схватил меня за плечи, чтобы столкнуть в Куру, но у меня наготове был стилет — и грузин пал в Куру замертво. Я обернулся, чтобы поцеловать грузинку. Ее кинжал занесся над моим сердцем. Я не успел ее поцеловать — она последовала в Куру за мужем... Она была прекрасна!.. — Лермонтов замолчал. — Что же, три смерти... Я рассказываю теперь об этом спокойно... А однажды в атаке я неловко ударил чеченца саблей. Я рассек ему глаз, скулу и губы, конец

сабли застрял в зубах. Я никогда не забуду его лица. Здоровый его глаз метался белком. Он извергал мольбы Аллаху и русские ругательства, и изо рта сыпались зубы, и у него было четыре кровавых губы.

— Но ты ничего не говоришь о м-м Жанне Гоммер де-Гэлль! — сказал Мамаев, совершенно пьяный.

Лермонтов и Мамаев стояли у калитки. Лермонтов молчал.

Светила полная луна. Замерзший снег блестел морозом. Вдалеке под луной покойствовал, величествовал хребет, Эльборус, — но хребта не было видно в夜里 со станицы Раздольная. Мамаев предложил послать за кахетинским, — Лермонтов хотел чаю. Товарищи простились. Лермонтов долго следил за луной. Лицо его было печально. На глазах его были слезы. В халупе он сел к столу, к свечам, и долго сидел у стола, с бумагами. Вернувшийся вчера Ванюшка Вертиков привез письма из Петербурга, от друзей, от бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Вяземский присыпал книгу «Современника» со статьей Белинского о «Герое нашего времени». Бабушка рассказывала светские новости, ожидала внука в Петербург к масляной, пересыпала бумагу старости Степана насчет продажи крепостных людей, чтобы внук засвидетельствовал в полковой канцелярии руку. Лермонтов долго сидел на бумагами и книгами.

Так Лермонтов встретил 1841 год, последний год своей жизни.

Мамаев же тою ночью под 1 января 1841 г. не ложился спать, прокутив всю ночь. Он вернулся в корчму, где допивали дебоширы. Было совершенно пьяно. Тела валялись по диванам и по полу. На биллиарде спал капитан Кочубей, в изголовье его горели три свечи. На груди его металли банк. Играли в штосс. Понтеры сидели

и висели на биллиарде. В буфетной допивали и пели. Мамаев догонял собутыльников в водке, и он рассказывал истории Лермонтова. Офицеры слушали без послесловий. Ссылки в связи со стихами на смерть Пушкина и за дуэль с де-Барантом были общеизвестны. Мамаев рассказал о Жанне Гоммер де-Гэлль, этой прекрасной француженке. В окна корчмы ползли синие мертвцы рассвета. Мамаев сидел на биллиарде, рассказывая. Штосс был забыт. В золотой раме на стене поблескивали масляные краски императора Николая.

— Это была обольстительная женщина, француженка, жена французского путешественника и ученого, сама путешественница и поэтесса, воспетая Альфредом Миосса. С мужем она искоlesила всю Азию, и судьба ее занесла на воды. Лермонтов вернулся из экспедиции в Малую Чечню, где крошили хищников, и поселился в Пятигорске. Водяное общество было блестящее. Мадам де Гэлль была окружена эскортом поклонников. В галлереи каждодневно гремела музыка и были балы. В грот Дианы невозможно было ходить, потому что он перестал быть местом уединения, став отдельным кабинетом золотой молодежи. Ежедневно кавалькады уезжали на Машук и к подножью Бештау. Лермонтов был всюду. Лермонтов устраивал пирушки в гроте, заливая его шампанским. Лермонтов волочился сразу за тремя дамами — за де-Гэлль, за Ребровой и за петербургской франтихой, забыл как звали, рыжая красавица. Мадам де Гэлль, не стесняясь, при всех называла Лермонтова Прометеем, привязанным к горам Кавказа, намекая на его ссылку. Мадемуазель Реброва была влюблена без памяти. Франтиха ездила с Лермонтовым наедине в горы. Лермонтов вел свои куры при всех сразу. Однажды вся компания переехала в Кисловодск, там был грандиозный бал в честь их высочеств в закрытой галлереи. Де-Гэлль и Реброва

остановились в одном доме. Лермонтов провожал Реброву и де-Гэлль. Он был блистательен. Реброва — очень оживлена. Тогда Лермонтов во всеуслышание сказал ей, что он не любит ее и никогда не любил. С Ребровой — истерики. Лермонтов все же проводил ее домой и, уходя, оставил у нее свою фуражку. В два часа ночи видели, ткк Лермонтов стучал в окно спальни мадам де-Гэлль. Окно отворилось, и Лермонтов исчез в нем, махнув фуражкой. Ставня закрылась за Лермонтовым... Но в пять часов утра, уже на рассвете, Лермонтова видели совсем на другой улице; он спускался на пристынях с террасы того дома, где жила петербургская франтиха. Он был без фуражки. На утро стало известно, что Лермонтов оставил за ночь три своих фуражки в трех разных домах — у Ребровой, у де-Гэлль и у франтихи, — имея триочных рандэ-ву. Но Лермонтов не удовлетворился этим. Утром Лермонтов проезжал мимо окон Ребровой и де-Гэлль, — он ехал верхом рядом с франтихой, и на голове франтихи была — фуражка Лермонтова!.. Франтиха не понимала, что она вснародно компрометирует себя этой фуражкой, похожей на Диогенов фонарь среди бела дня. Мадемузель Реброва слегла в постель. Мадам де-Гэлль отослала с лакеем фуражку и отказалась Лермонтову от дома. Франтиха, считавшая себя победительницей, к вечеру, вернувшись с прогулки, узнала, каким чучелом нарядил ее Лермонтов, когда она по своей же воле надела его фуражку, — и на следующее утро она выехала с вод в Петербург, потеряв весь свой престиж, совершенно скомпрометированная... Лермонтов был счастлив!..

В корчму шли мертвецы рассвета. Мамаев рассказывал с упоением. Штосс был забыт. Капитан Кочубей спал на биллиарде, в головах у него горели три ненужные свечи, грудь его была завалена картами. В золоте рамы на стене величествовал в белых лосинах император Ни-

колай, величественно смотрел перед собою. В буфетной выстрелами из пистолетов стали тушить свечи. Кочубей вскочил от выстрелов, с него посыпались карты. Карты собрали для штосса. Император Николай благословлял со стены. За окнами рассвело. За станицей, где стоял на зимних квартирах полк, лежала степь. Вдали был виден хребет, солнце окрасило вечные льды. Хребет покойствовал вечным величием. Там в горах жили люди, с которыми воевал царь Николай — воевал разорением, насилием, огнем, уничтожением, вырезывая племя за племенем. Горы были к югу от станицы.

К северу лежала — Россия —

Мамаев рассказал истину о м-м Гоммер де-Гэлль. В старых французских архивах есть письма м-м Гоммер де-Гэлль, этой необыкновенной женщины, которой посвящал свои стихи Альфред де-Мюссе и которая — действительно считала Лермонтова Прометеем — прикованным к горам Кавказа, величайшим поэтом России. И действительно Лермонтов скакал по октябрьским степным грязям две тысячи верст на телеге, без разрешения начальства, вопреки стихиям, чтобы пробить несколько часов около Жанны де-Гэлль. Вот желтые листки ее писем:

«...Тэбу де-Марини доставил нас на своей яхте в Балаклаву. Вход в Балаклаву изумителен. Ты прямо идешь на скалу, и скала раздвигается, чтобы тебя пропустить, и ты продолжаешь путь между двух раздвинутых скал. Тэбу показал себя опытным моряком. Он поместил меня в Мисхоре, на даче Нарышкиной. Лермонтов сидит у меня в комнате в Мисхоре и поправляет свои стихи. Я ему сказала, что он в них должен непременно

помянуть места, сделавшиеся нам дорогими. Я, между тем, пишу мое письмо к тебе. Как я к нему привязалась! Мы так могли быть счастливы вместе! Не подумай чего дурного. Мы оба поэты. Он сблизился со мною за четыре дня до моего отъезда из Пятигорска и бросил меня из-за рыжей франтихи, которая до смерти всем в Петербурге надоела и приехала пробовать счастья на кавказских водах. Они меня измучили, я выехала из Кисловодска совсем больная. Теперь я счастлива, но ненадолго. Мне жаль Лермонтова; он дурно кончит. Он не для России рожден. Его предок вышел из свободной Англии со своей дружиной при деде Петре Великого. А Лермонтов великий поэт. Он описал наше первое свиданье очень мелодичными стихами. Он сам на себя клевещет: я редко встречала более влюбленного человека...

...Я ехала с Лермонтовым, по смерти Пушкина величайшим поэтом России. Я так увлеклась порывами его красноречия, что мы отстали от нашей компании. Проливной дождик настиг нас в прекрасной роще, называемой по-татарски Кучук-Ламбат. Мы приютились в биллиардном павильоне, принадлежащем, повидимому, генералу Бороздину, к которому мы ехали. Киоск стоял один и пуст; дороги к нему заросли травой. Мы нашли биллиард с лузами, отыскали шары и выбрали кии. Я весьма порядочно играю русскую партию. Мне казалось, что наша игра гораздо значительней, чем просто игра в биллиард, и это была русская игра... Мы дали слово

друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам... Я всегда любила то, чего не ожидаешь...

Тэбу де-Марини, владетель военной шхуны «Юлия», был французским генеральным консулом в России. Лермонтов приезжал в Крым, чтобы пробыть несколько часов с Жанной Гоммер де-Гэлль. Лермонтов играл с м-м Гоммер де-Гэлль в биллиард — в грозе, в зеленой роще — в предпоследнюю с ней встречу. Тэбу де-Марини собирался ехать вслед Лермонтову на Какваз, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль. Это был солнечный крымский октябрь. Жанна Гоммер де-Гэлль была солнечной женщиной, эта женщина, которая любила Лермонтова, человека и поэта, потому что она была нерусской, и любила так, как никто его никогда не любил. Она писала: «Мы дали слово друг другу предпринять на яхте «Юлия» путешествие на кавказский берег к немирным черкесам». — Лермонтов вернулся к своим отрядам, Жанна ушла в синь Черного моря. Тэбу де-Марини встретил ее на своей шхуне — пушечным салютом. Шхуна ушла в синее море, Лермонтов...

...К северу от Крыма, от Кавказа — лежала — великая! — Россия!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

И еще был Новый год — 1840-й. Его встречали в Пятигорске в доме наказного атамана кавказских казачьих войск генерала Верзилина, в том доме, который впоследствии перешел к Акиму Александровичу Шан-Гирею, двоюродному брату Лермонтова, и в котором 13 июля 1841 г. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Генерал Верзилин был начальством, — хлебосолом и отцом — как своих дочерей, так и падчерицы Эмилии Клинкенберг, впоследствии Шан-Гирей. Старшая дочь Верзилина, Аграфена Петровна, вышла замуж за Василия Николаевича Дикова; у Лермонтова сохранилась строфа, посвященная Аграфене и Василию:

... А у Груши целый век
Только дикий человек!..

Эмилия Александровна Клинкенберг рождена была лютеранкой и впоследствии перекрещена в православие. Так как имени — Эмилия — в православных святыцах нет, она была названа Меланией. В доме продолжали называть ее Эмилией, но день ангелаправляли 31 декабря, в день Мелании.

31 декабря, в ночь под сороковой год, у Верзилиных были именины и новогодний бал. И на этом бале Василий Николаевич Диков, тогда еще жених Аграфены, «грушин

век», подарил Эмилии Александровне — серебряный кавказский стаканчик, черненый, позолоченный. Пятигорский чеченец-гравер начертал на дне стакана:

Въ. День. Ангила
Э. 1840. К.
ВД.

Стакан, по существу говоря, был провинциален и беден. На бале, в полночь, из этого стакана пригубливалась красное кахетинское — Эмилия Александровна, и все, бывшие на бале, рассматривали подарок Дикова.

Рассказ повторяется. В дневнике Печорина от 26 июня записано:

«Вчера приехал сюда фокусник А ф е л ь ба у м. На дверях ресторации явилась длинная афиша, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление»... Это было в Кисловодске. Печорин записывает:

«Нынче после обеда я шел мимо окон Веры; она сидела на балконе одна; к ногам моим упала записка:

«Сегодня, в десятом часу вечера, приходи ко мне по большой лестнице: муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме: я им всем раздала билеты, также и людям княгини. — Я жду тебя; приходи непременно».

Печорин только на минуту заходил смотреть фокусника. Он не видел фокусов. Ночью он был у княгини Лиговской. Этую же ночь он оказался под окном княжны Мэри.

Там он подрался с Грушницким и с драгунским капитаном, секундантом Грушницкого, получившим от Печорина в рожу. Эта ночь была окончательным поводом дуэли между Печориным и Грушницким. На утро у нарзанного колодца утверждали, что Печорин имел ночное rande-ву с княжной Мэри. Печорин записал о той ночи, когда он на шалах спускался из окошка княгини Веры:

«Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак. Все зашевелилось; стали искать черкесов во всех кустах и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбости и поспешности, то по крайней мере десятка два хищников осталось бы на месте».

Рассказ повторился Жанною Гоммер де-Гэлль. Прошло почти столетье. Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Лермонтов не послал Печорина к фокуснику Апфельбауму, герой м-м Гоммер де-Гэлль. Но я был на Минеральных группах — в положении фокусника. Меня купило управление Кавминвод — Кавказских Минеральных Вод, — чтобы я читал лекции, показывал себя и составлял «общество», — и я погружался в пошлость Минеральных Вод. На рассвете в Москве меня взял аэроплан, в закате дня я сошел с самолета на станции Минеральные Воды. Через сто лет самолет будет дормезом, сейчас он величествен — лермонтовски, ибо в стихиях самолет мерит себя и свою волю — только стихиями, — и мерит — только смертью: человеку на самолете гордо — за человека, за человеческого демона, то есть гения, которого искал Лермонтов. С Минеральных Вод я поехал поездом, которого не было

при Лермонтове, — в Ессентуки, где ждала меня комната на даче «Звездочка» (пошлие не придумали). Я нанял извозчика — на «Звездочку». Извозчик оказался хохлом.

— Ага, — молвил он, — на Звездочку? — значит, артист!

На «Звездочке», приехавший до меня, жил критик Александр Константинович Воронский, так же, как и я, приглашенный для культурной революции. Я увидел его через окно, и я крикнул:

— Где здесь живет артист Воронский?

Мы смеялись, целуясь.

О моих лекциях: мне нечего говорить, тезисы составлял Дюкло, наш правитель, чтобы эпатировать курортное население. Но там был один тезис: «Разговор с М. Ю. Лермонтовым», — этот тезис предложил я, и я замалчивал его на лекциях. До сих пор я не могу его оформить, потому что он лежит вне слов, — я же очень хорошо знаю, что самое несовершенное в общении людей — слово, слова, — что словами можно рассказать только промилли того, что чувствуешь — и чем ответственнее чувствования, тем бессильнее слова. На самолете в небе тогда я думал о Лермонтове, и я хотел написать письмо Михаилу Юрьевичу о его местах. Меня не страшило столетие, ставшее между нами: писатели существуют только тогда, когда они могут бороть время, — пройдет еще сто лет, и мы сдвинемся с Лермонтовым на полках русской литературы — не тем, что Лермонтов описывал пошляков, а я описывал метели революции, — но тем, как мы видели, молились, ошибались, жили, любили, — и писатели знают, что их письма пишутся для черных кабинетов читателя. Я не написал этого письма, не найдя слов для песни, которая спета во мне Лермонтовым. В памяти моей остались только отрывки этой песни, сложенные в слова.

— Михаил Юрьевич! — Мне страшна ваша Россия, — полосатоверстая, как каторжный туз, николаевская Россия. Я был в ваших местах. Я следил за бытом ваших героев. Это никак не верно, что вы автобиографичны. Печорин, Грушницкий, капитаны (капитан, предлагавший не заряжать вашего пистолета — просто мерзавец!), — княгиня Вера, княжна Мэри, ее мамаша — чистокровнейшие пошляки, бездельники, невежды. Умные разговоры Печорина с Вернером — глупы. Печоринская манера подслушивать под окошками — неприлична. Все вертится около скверных романишек, пистолетов и издевательств над человеком, — нехорошо! — ужели стоит марать перо о растлителей молодых девушек? — и этот Пятигорск организованной пошлости!.. — Нет, Михаил Юрьевич, — вы не автобиографичны, — век рассказал мне об этом...

Впрочем, Пятигорск жив поныне: сейчас там лечат сифилитов, с лекциями и под музыку в разных галереях, живых от Лермонтова, — и жив грот, где Печорин встречался с Верой, он назван Лермонтовским, и туда ходят писать на стенах похабные слова и собственные имена похабников. Памятник на месте убийства Лермонтова так же изрешечен изречениями о Мане и Зине; там же висят засаленные черкески со страшными гозырями, и любители могут, нарядившись в них, сфотографироваться около памятника! меня обманула даже природа. Я ждал Кавказа, гор, первобытность, — я увидел холмы, заросшие лесом, куда забираются ослы и автомобили, — причем эти семь-восемь холмов сиротливо торчат среди просторов облупленной степи, и торчат случайностью. Я верю Лермонтову, что сто лет тому назад у Мэри на Подкумке, в июне месяце, закружила голова от потоков вод этой горной реки: сейчас эту реку в июне — в любом месте перейдет курица. — Мне стыдно перепонтировать героев лермонтовского времени! — Человек всегда пошловат, когда

он отдыхает и когда он доволен. Сюда ездят отдыхать и быть довольными. Витии называют курорты фабриками здоровья. Витии печатают лозунги:

«Больные! Сохраняйте бодрое, спокойное настроение духа — это способствует правильному лечению!»

«Питание, выписанное врачом, должно строго соблюдаться!»

«Половое воздержание — всегда безвредно!»

«Распутство и пьянство на курортах завела буржуазия — надо изживать эти пороки, так как они мешают ремонту здоровья!»

Курорты превращены в фабрики здоровья, люди одеты в больничные халаты санаториев, из-под халатов торчат тесемки, и из больничных туфлей торчат пятки, — и в общественных столовых меню разбиты по диетическим рубрикам: «при поносах», «при запорах» и пр. Не может не быть у человека уважения к земле, к ее недрам, к ее законам; в этих местах из земли бьют целебные ручьи, рожденные вулканами, целебная вода; в первый же день я пошел к источникам, как здесь называются ручьи; источники вделаны в камень; со мною шла толпа халатов и кургужых женских платий, у всех в руках были кружки и стеклянные трубочки; источники, вделанные в камень, назывались блюветами; девушки типа больничных хожалок проворно наливали в кружки воду; кургужи и халаты пили воду через стеклянные трубки, чтобы вода лучше усвоилась желудками, оттопыривали в священнодействии губы и походили на идиотов; я слышал разговоры о пищеварении, прекратились ли газы у Ивана Иваныча; Александр Константинович Воронский ходил к врачу, чтобы лечиться, — врач сказал: «Конечно, воды очень полезны, но думается, что самая полезная

вода — вода обыкновенная». — Я был в диетической, запорно-поносной, столовой только один раз — меню мешало моему желанию есть. Дюкло называл эти столовые — не диетическими, но идиотическими. — В Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Железноводске лечат — сифилис в кондиломатозном и гуммозном периодах, полейрриты интоксикационные, субацидные и акацидные катарры желудка, вагиниты и эрозии, — научные слова! Больничные храмы величественны, построенные из поддельного мрамора, украшенные символами эллинского здоровья. Я ходил осматривать эти храмы. Я был в белом халате, за доктора. Меня провожал мой знакомый врач. Я видел очень много изdevательств над человеком, учеников самим же человеком; я был в отделении, где грязью лечат ожиревших женщин; эти голые зеленотелые женщины были изdevательством над красотою человека, их животы висели сальными фартуками примерно до колен, раздвоенные пупком, их груди спускались на живот зеленым салом, тыквы их задниц были омерзительны; у многих из них были подкрашены губы, — и у всех у них было на лицах обалдение распаренного уважения к целебностям; хожалки приносили ведра горячей грязи, мазали грязью женщин, заворачивали их в простыни, покрывали одеялами, и женщины лежали в блажном страдании; в клиниках покойствовала торжественность; мой знакомый доктор, — фамилия его никак не Вернер, — выгонял из мужской мочи химические формулы свинца, — это было единственно интересным. Дюкло рассказывал сказку, как мужику плохо жилось, как цыган обещал облегчить его жизнь, велел сначала взять в избу кур, потом телят, потом свинью, затем корову, — мужик стал окончательно задыхаться, — цыган велел вывести тогда — сначала корову, потом свинью, затем телят, — мужик задышал легко и даже согласен был оставаться

с курами, — и Дюкло уверен, что принципы местных лечений построены на этой побасенке. — Мне стыдно перепонтировать вас нашими козырьми, Михаил Юрьевич! — Люди приезжали на поездах убежденными фалангами, убежденно лечились, организованно пищеварили в течение месяца и — возвращались — с фабрик здоровья — на российские веси — опять-таки организованно, неорганизованно выполняя лишь заветы пиит, местных витий, которые печатали:

«Распутство и пьянство на советских курортах надо выжигать каленым железом!»

Под заборами этих лозунгов я вспоминал грязелечебных гусынь. Впрочем, пииты же писали:

«Театр — отдых и школа, а на курорте, кроме того, — лечебный фактор!»

«Скука мешает правильному лечению!»

«Курортная физкультура — лечебная процедура!» —

и по вечерам на курортах было все, — симфонические оркестры, драматические спектакли, оперетта, опера, эстрада, пластические и балетные номера, комики, рыжие, раешники, — и были мы, писатели, на предмет культурной революции, о которой много говорилось в 1928 году.

Михаил Юрьевич! — я перечитал ваше письмо к Лопухиной, вы назвали это письмо «Валериком». Валериком называется — не река, но речка смерти. На Групах нет теперь никаких боев, там показывают — Лермонтовский грот, Лермонтовскую галлерею, Лермонтовские ванны, Лермонтовскую долину, Лермонтовский водопад, — а на месте лермонтовской смерти — фотографируются в засаленных черкесках с громадными кинжалами.

...жалкий человек...

Чего он хочет? Небо ясно...

У меня не было более ненужных дней, чем эти мои дни на Группах. И я часто вспоминал вашу речку смерти, Михаил Юрьевич. Впоследствии я прочитал в донесении генерала-адъютанта Граббэ о сражении при Валерице, бывшем 11 июля 1840 г., в Ольгин день, — генерал записал о вас:

«...офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские за валы».

Все нужное, что связано у меня с этими моими днями, связано вами, Михаил Юрьевич.

Печорин не пошел смотреть фокусника Апфельбаума, — но я пошел смотреть Жанну Дюкло.

Это было в июньских числах Печорина, в Кисловодске, в Нижнем парке, около Нарзанной галлереи, где некогда ловили печенкиных черкесов. Своим человеком я прошел за кулисы, чтобы поздороваться с м-м Жанной. Меня встретил ее муж, человек в больших круглых, роговых пенснэ.

— Очень жаль, что вы будете смотреть Жанну на базаре, — сказал он.

М-м Жанна была в черном, в черном платье с белыми кружевами и высоким воротником, в черных чулках и в лаковых туфельках. Волосы ее были гладко зачесаны, в ушах блестели старинные серебряные подвески. В руках у нее был белый платок. Глаза ее были девичи.

— Мы начинаем, — сказал муж, поправив прическу, волосы мужа были зачесаны назад, за уши, в традициях партикулярных людей начала девятнадцатого века.

Я вышел к зрителям. За большими буквами афиши фотография м-м Жанны не походила на подлинник. На стульях сидели больничные халаты, торчали тесемки подштанников. Свальная белая кепка и милые красные платочки захлопали м-м Жанне, галки на чинарах запушили крыльями и закаркали. Вспыхнули дополнительные огни софитов, ночь за деревьями стала черней. М-м Жанна вышла с белым платком у губ, этот медиум, она казалась девочкой и лунатиком одновременно, вид ее был прост и таинственен. С курсала донеслись медные трубы оркестра, на вокзале прогудел отходящий поезд. Вслед за м-м Жанной вышел ее муж, во фраке.

— Жанна, будьте внимательней! — крикнул муж тоном циркового наездника.

Муж спустился к рядам, чтобы принимать вопросы. Муж наклонился над критиком Леопольдом Авербахом, чтобы выслушать его вопрос. Авербах, посоветовавшись коллективно с драматургом Киршоном, шепотом спросил: когда приедет их друг прозаик Либединский?

— Жанна, будьте внимательней! Отвечайте, мадемуазель! — крикнул жокейски муж.

М-м Жанна ответила не сразу, она опустила голову, напрягая мысль, и бессильно опустила руки. У нее был звонкий голос, картавый на «р».

— Я п'ислушиваюсь... я слышу... вы сп'ашиваете о вашем д'уге Ю'ие... об известном писателе Ю'ие Либединском... я вижу... он п'иедет, мне кажется, в начале июля...

— Дальше, Жанна! Мадемуазель, дальше! — крикнул муж, отошел от Авербаха, наклоняясь над военкомом. — Дальше, мадемуазель, внимательней!

— Я п'ислушиваюсь... я вижу... вы а'тилле'ист, вы служите в Москве! —

— Я п'ислушиваюсь... я вижу вы а'тилле'ист, вы служите в Москве! — М-м Жанна подняла голову, улыбнулась, заговорила быстро, глаза ее были детски. — Вас зовут Исида' Мейчик, вам двадцать семь лет, номе' вашей па'тникики — двадцать две тысячи... се'я...

Военком был поражен; он спрашивал, в каком полку он служит, сколько ему лет, номер его партийной, ВКП, книжки: м-м Жанна отвечала быстрее, чем он задавал вопросы. Военком сдвинул фуражку на затылок, явно вспотев. Кепки притихли.

— Дальше, Жанна! Скорее! Внимательней! — кричал муж, склоняясь над ответственным работником.

Ответственный работник, в халате, в кепке и в тесемках, спрашивал: изменяет ли ему в Москве жена? Как ее зовут? М-м Жанна опустила глаза и руки, вид ее был беспомощен.

— Ваше жену зовут 'евеккой, — сказала она беспомощно и тихо. — Нет, она не изменяет вам, нет... она ве'ная жена... Но я вижу... я п'ислушиваюсь... — м-м Жанна сказала совсем тихо и очень печально. — Я вижу, как вы изменяете своей жене...

Ряды захочотали. Совработник заерзal на стуле. Галки кричали на чинарах, посвистывал паровоз. Ночь была душна, и под скамейками трещали кузнечики. Я недоумевал, воспоминая лермонтовский штосс. Я не мог придумать рационального объяснения этому совершенно метафизическому явлению. Дюкло не слышала вопросов, она отвечала ясновидящe правильно. Люди, задавшие вопросы, были растеряны. М-м Жанна стояла на эстраде девически целомудренно, в черном платье стиля начала прошлого века, усталая женщина, похожая на девочку. Никаких гоголевских «портретов» не было. Была уездная эстрада, открытая, в парке, ротондою. М-м Жанна выступала после пластически-раешных номеров, — ее номер

считался ударным, ее выпускали под занавес. У европейцев принято восторги выражать ладонями, — хлопали мало. Шла обыкновеннейшая курортная ночь, когда в одиннадцать надо быть в бараках санаториев. В старину такие номера обставлялись черными комнатами, свечами, таинственностью, шопотом. Люди повалили с рядов бараном, опять потревожив галок. Нарзанная галлерея была заперта.

Мы ждали Дюкло, пока они переодевались. М-м Жанна с мужем, профессор Федоровский с женою, писатель Иван Алексеевич Новиков и я — мы пошли в Алла-верды, в шашлычную, ужинать. М-м Жанна говорила о своей дочке, оставшейся в Москве, и медленно пила кахетинское № 110. — Штосс сведен на эстраду, тресвечие, семи-свечие метафизики — упразднены. М-м Жанна была очень утомлена, медленина и обыденна. Ее муж остыл. Иван Алексеевич, писатель, чье творчество навсегда пропахло иолынью благостных зорь, — говорил — о троицыном дне, о белой троицыного дня березке, называя березкою м-м Жанну. Они говорили о девочке Дюкло. — В шашлычной пахло тархуном, бараным салом, и скрипач наяривал молитву Шамиля. Профессор Федоровский строил объяснения номера м-м Жанны. Дюкло-муж не открывал секрета, предлагая притти на разоблачительную — его — лекцию. Штосс Лермонтова, прошед через кулисы эстрады, расцвел для Ивана Алексеевича Новикова — белою троицыного дня березкою. Метафизики больше нет. Всем сердцем я был с Иваном Алексеевичем!

...Я был в доме, который теперь называется Лермонтовским музеем. Там на стене висит церковная вынись, — поручик Тенгинского пехотного полка, — убит на дуэли, — «погребение пето не было». — Вы не погребены, Михаил Юрьевич, вы — живы! — Ваш домишко, где вы жили со

Столыпиным перед смертью, куда привезли ваш труп после дуэли, — превращен в музей. Я ночевал в этом музее, в вашем кабинете-спальне, где некогда лежал ваш труп. Вы записали, Михаил Юрьевич:

«...моя комната наполнилась запахами цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окно, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками».

Все это попрежнему, Михаил Юрьевич, попрежнему стоят платаны, и скосилась коряга грецких орехов, и в палисаднике цветут цветы. Я сидел за вашим письменным столом, встречая ночь. Пятиглавый, — так называли вы его, — Бештау синел, уходя во мрак. Я был один. Над землей дул ветер, очень сильный, он пахнул степью и качал деревья в палисаднике. В домишке было глухо и сыровато. Я думал о том, что, если бы мы жили одновременно, мы, вернее всего, не встретились бы! — я был Апфельбаумом. Я говорил с вами через столетье о том, что встретиться нам необходимо, чтобы чокнуться временем сердца о сердце. Я заснул тогда очень поздно, перед сном рассматривая янтари ваших трубок. И ночью я видел вас, во сне. Это было в степной станице, в полку, в новогоднюю ночь, вы держали в руке рог, офицеры безмолствовали, вы были очень бледны, ваши глаза, всегда тяжелые, были особенно тяжелы, — вы сказали: — «Я пью за — за жизнь!» — и кругом были мертвцы, мертвые офицеры, мертвая корчма, ночь, — все было мертвое, и на стене блистал император Николай. Живы были только мы. Нам сказали, что нас ждут, — мы вышли. Нас ждал самолет, пилот был тот самый, который принес меня из Москвы. — «Через сто лет самолет будет только дилижансом», — сказали вы, Михаил Юрьевич, — но

тогда мы найдем другие пути, чтобы брать за сердце жизнь и чтобы чокаться смертями. Впрочем, я знаю, что останется, если будет жизнь, — останутся — смерть, любовь, рождение, рассветы и ветры!» — над степью ревел буран, космы снега заплетали Лермонтова, его папаху, его бурку, сплетая его с космосом. Вопреки стихиям над буранною степью высился Эльборус. «Мы летим меряться силами со стихиями!» — крикнули вы, Михаил Юрьевич. — Я проснулся. Был мертвый час ночи. Всеми нервами своими я ощущил, что лежу я в доме, где некогда лежал мертвец — Лермонтов. Над домом, за ставнями, свистел ветер. Я зажег спичку, закурил, осмотрелся, открыл ставню. Светало. Свистел синий ветер.

Утром я понял, что от Лермонтова в его доме ничего не осталось, кроме чинары и черешен в палисаднике. Пролетарский поэт Тришин, который ныне хранит лермонтовскую усадьбу, сказал мне, что письменный стол, столик у дивана, мундштуки — все это привезено из Петербурга, из дворцовых фондов. Кроме чинар, остались перестроенные стены дома да память о том, как расположены были комнаты при Лермонтове и Столыпине. Полковник Челищев, домохозяин, призывал попа освящать этот домишко после того, как лежал здесь труп Лермонтова.

Но Тришин сказал мне, что рядом в переулке сохранился дом Верзилиных, ставший впоследствии домом Шан-Гиреев, национализированный в годы революции, — и что в доме живет сейчас Евгения Акимовна Шан-Гирей, дочь Акима Шан-Гирея, друга и двоюродного брата Лермонтова, с которым Михаил Юрьевич вместе возрастил, называя его в письмах Екимом, — дочь Акима Шан-Гирея и Эмилии Александровны Клинкенберг, той, которую по неверному преданию называют княжной Мари. Я пошел в этот дом. Он отдан в нищету, на дворе сапожничал рабочий. Я встретил Евгению Акимовну, ко мне вышла

старушка в темном платье, я знал уже, что ей семьдесят три года, лицо ее было светло, Время остановилось. Мы заговорили. Мы стояли на террасе, завитой виноградником.

— Тогда этого хода не было, — сказала Евгения Акимовна, — спускались через террасу, и вот здесь, — она указала рукой, — на этом месте Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Лермонтов был злой человек, он не любил людей и всегда издевался над слабостями его окружающих. Мартынов любил порисоваться, одевался чересом и ходил с засученными рукавами, нося на поясе громадный кинжал... Так рассказывала моя мама.

Мы вошли в дом.

— Эта комната была гостиной и танцевали именно здесь,— Евгения Акимовна указала рукой,— здесь стоял диван, а здесь было фортепиано. У нас была вечеринка. Моя мама, Лермонтов и Пушкин, брат поэта, сидели на диване. Мартынов стоял около фортепиано с моей тетей Надеждой Петровной. Лермонтов и Пушкин острили. Князь Трубецкой играл на фортепиано, Трубецкой оборвал аккорд и ясно прослышились слова Лермонтова «Montagnard au grand poignard ..» — горец с большим кинжалом,— как Лермонтов называл Мартынова. Мартынов был добрый малый, но был позор. У Лермонтова был злой язык, он был недобрый человек. Мартынов побледнел... Все это мне рассказывала мама... Тогда на террасе, на том месте, которое я показывала вам, Мартынов сказал Лермонтову: — «Сколько раз мне просить вас оставить ваши шутки при дамах!» — Лермонтов ответил: «Вместо пустых угроз, ты гораздо лучше бы сделал, если бы действовал» — и Мартынов вызвал Лермонтова.

Я стоял в комнате, где возникла смерть Лермонтова. Я хотел взглянуть в комнату и в столетие. Комната была невелика и — ныне — нища, давно запыленная вре-

менем. Около меня стояла светлая старушка, осколок тех дней. Вещи, когда-то бывшие, исчезли из комнаты, изгнанные нищетой и временем. От наказного атамана кавказских казачьих войск — ничего не осталось. Я искал вещественных памятников.

— Вот это зеркало тогда висело над фортепиано,— сказала Евгения Акимовна и указала рукою.— Вот этот шкаф был тогда с книгами...

Мы прошли в комнату, которая была диванной. Некогда в ней жила бабушка, порицавшая Лермонтова. Ныне жила здесь Евгения Акимовна. Вещей от Лермонтова в этом доме почти не осталось, ничего не осталось от тех дней, дом умрет вместе с Евгенией Акимовной.

Евгения Акимовна принесла и показала мне — серебряный кавказский стаканчик, очень начищенный, позолоченный. На дне стаканчика было выгравировано:

Въ. День. Ангила
Э. 1840. К.

Это был тот самый стаканчик, который подарил Василий Николаевич Диков Эмилии Александровне Клинкенберг.

— Этот стаканчик маме подарил Диков, когда он был женихом тети Аграфены Петровны и когда мама была еще девушкой,— сказала Евгения Акимовна,— мама говорила, что из этого стаканчика пивал и Михаил Юрьевич.—

Я склонился над этим осколком времени, над этой вещью из времени, чтобы заглянуть в век. Я глядел через время. Я видел век, глядя на стаканчик, из которого или вы, Михаил Юрьевич. Евгения Акимовна была печальна. Угольная комната, некогда диванная, застыла в тишине.

Ныне этот стаканчик у меня.

Евгения Акимовна сказала печально:

— На-днях приходили из милиции, требуют, чтобы мы все выселились отсюда, хотят в этом доме устроить уголовный розыск... Быть может, вы поговорили бы с Луначарским, чтобы этот дом перешел к музею... Хорошо еще у нас живут рабочие, которые не хотят этот дом отдавать под уголовный розыск...

Я видел оба века. Я сидел со старушкой, остановившей время.— Уголовный розыск будет — докапываться до уголовных причин смерти Лермонтова! — Михаил Юрьевич,— это называется — валериком? — речкой смерти? —

...Это был бред...

Мы, люди со «Звездочки», жили звездочетами, потому что ночи у нас начинались рассветами, и дни возникали запозднями. На моей двери были нарисованы одинокие — стул и слезы. Жены через день по утрам собирались выезжать из этого сумасшедшего дома, куда актеры возвращались после работы к двум часам ночи и начинали шипеть примусами, садясь до утра за покерное помешательство. У меня примуса не было,— у меня была одна хозяйственная вещь — стакан Василия Дикова. Двери в этом доме никогда не запирались, во многих окнах не хватало стекол, дом был полупуст, и в нем, кроме актеров, жили летучие мыши. В саду около дома каждую ночь кричали совы. В грозы в доме протекала крыша, а в тишину слышно было, как бежит вода из испорченных кранов, которые всем лень было закручивать. Тихими часами были часы от рассвета до полдней. В закаты певцы разучивали арии, музыканты экзерсировались, а драматические актеры доигрывали партии покера, не доигранные за ночь. На визитной карточке комнаты номер первый было написано: — «Кахетинское № 110». Действительно, в моей комнате были только — стол, стул и кро-

зать. Я набил сенник, положил его на террасе,— это было моим диваном, где я валялся днями, в табаке и книгах.

В тот вечер я был в шашлычной. В час я лег спать. В два меня разбудили Дюкло. У них были гости. Светало, и мы разговаривали. Или это был сон? — Когда до солнца осталось полчаса, я пошел к полковнику, ставшему извозчиком, у которого мы брали лошадей. Я взял коня и поскакал в степь, к горе Шелудивке, навстречу Бештау. Конь шел карьером. Было совершенно светло, и с минуты на минуту должно было возникнуть солнце. Пахло степным рассветом, полынью и конским потом. Мне было чудесно тем восхищением перед миром, которое граничит со смертной тоской,— тем восхищением, от которого мистики молятся, а я мог бы плакать. По степи стали курганы. По долинам шел благостный туман, уничтожавший таинства ночи. Я поскакал к кургану, я поднялся на его вершину. Я слушал хроп коня и смотрел на восток. Небо багровело, облака расплывали латы. Я оглянулся на юг,— в синей мгле, в ста верстах от меня, вспыхнула двуглавая шапка Эльборуса зловещим огнем. Я повернул голову — и солнце ударило мне в глаза. Конь подо мною заржал, приветствуя утро. Солнце ослепило меня, мои глаза ослепли от слез. Конь помчал дальше в пространства, в степь, к Шелудивке, к просыпающейся станице. В станице я выпил стакан водки с крынкой молока. Тем рассветом я написал, никогда не записанное, письмо Ивану Алексеевичу Новикову — о белой березке троицыного дня и о горькой березовой горечи: род Ивана Алексеевича Новикова древен писателями и пусть, когда мы оба умрем,— пусть будет это, никогда не записанное, письмо вставлено здесь в этот рассказ о вас, Михаил Юрьевич, и о вас, Иван Алексеевич, письмо о березовой горечи счастья!..

При Лермонтове Ессентуки были пустой казачьей станицей. Печорин записал:

«...Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку... Я молился, прогнил, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. При возможности потерять ее навеки, она стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счаствия! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно.— И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит; раза два он уже споткнулся на ровном месте... Осталось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь.

Все было бы спасено, если бы у моего коня достало сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся на землю...

... и долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется»...

Михаил Юрьевич, вы должны были уметь плакать — плакать горчайшими слезами отчаяния!.. Я искал тем рассветом места, где плакал Печорин, и я въезжал на каждый курган, на эти могилы неизвестностей, чтобы дальше видеть. Дороги заменены железными дорогами, железные дороги сменятся аэропутями,— рассветы и слезы — останутся.

Я вернулся в свой дом. Солнце не успело еще загнать в комнаты дня, гнилые ставни были заперты, горело элек-

тричество, на столах умирали хлеб и стаканы. В тот день, когда я был в клиниках лечения грязью и видел женское сало, доктор Ахматов рассказал мне о том, чего я не знал, что недавно открыли немцы,— о том, что в человеческом организме, оказывается, существуют — два сердца: одно общеизвестно, а другое — его немцы называют периферическим сердцем — другое: самые кончики, самые мельчайшие сосудики артерий, в том месте, где они переходят в вены, где кровь из артериальной становится венозной,— эти сосудики вооружены нервами и мышцами,— эти нервы и мышцы помогают большому сердцу,— миллионы этих нервиков и мышечиков составляют периферическое сердце...— Мы останавливали ночь гнилыми ставнями. Со мною затворилось странное. Я сидел рядом с Дюкло-мужем, м-м Жанна не слышала наших разговоров: и она стала отвечать мне, читая мои мысли. История художника Лугина повторялась мною. То, что м-м Жанна делала на сцене, что категорически отказывалась она делать у себя в доме,— делалось сейчас со мною. Возникла лермонтовский штосс. День был остановлен гнилыми ставнями. Я был слишком пьян рассветом, чтобы четко соображать. Дюкло-муж склонился надо мною, он весело крикнул, расхохотавшись:

— Борис Андреевич,— крикнул он,— мы весело разыграли вас! Выслушайте, на чем построен наш номер. Вы знаете, что такое стенография,— представьте себе — звукографию. Я говорю Жанне, — «мадемузель, будьте внимательней!» — вы слышите только это,— но вибрацией голоса, ударениями на звуки, придыханием, тем, как звуки я растягиваю,— я передаю ей: — «Борис Андреевич пьян и бредит Лермонтовым, которого, будто бы он караулил сейчас около Шелудивки!»

Я распахнул широко гнилые ставни.

Михаил Юрьевич! штосс Жанны Дюкло не есть даже фокус, это просто упорный труд и очень музыкальные уши.— Михаил Юрьевич! Иван Алексеевич Новиков утверждал березовую горечь троицыного дня Жанны Дюкло,— ужели чудесная березовая горечь Жанны Гоммер де-Гэлль не была горечью троицыного дня!?

...М-м Жанна Гоммер де-Гэлль... Впрочем, в селе Подмоклове, Подольского уезда Московской губернии, в церкви, на картине страшного суда — помещены вы, Михаил Юрьевич, в числе горящих в огне великих грешников,— вы, Михаил Юрьевич, чьи предки в Шотландии — один в одиннадцатом веке дрались с Макбетом, а другой в тринадцатом — был бардом, заколдованным царством фей и воспетым Вальтером Скоттом. Вы написали вашему другу Лопухину:

«...смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видно, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицеемейстера»...

Да, Михаил Юрьевич, — это трагическое России — и я прав, мы наверное не встретились бы с вами — из-за полицеемейстера. И вы не увидели бы, — как не увидали Жанну Гоммер де-Гэлль, — Жанны Дюкло, березовой горечи вашего штосса. Михаил Юрьевич, — тогда, в новогоднюю ночь сорок первого года, когда вы пили за смерть, вы не дорассказали истории титулярного советника Штосса, — вы ставили на карту жизнь ради своих видений, которые были выше жизни, вы понтировали на жизнь, — и титулярный советник Штосс играл с вами на клюнгеры!

И позвольте мне рассказать вам о м-м Гоммер де-Гэлль.

Я уже делал выписки из донесений генерал-адъютанта Граббэ,— «офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством» — В наградном списке, написанном Раковичем, значится: —

«Лермонтов с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников, покушавшихся препятствовать нашему движению, и занял позицию в расстоянии выстрела от пушки. При переправе через Артун он действовал отлично... и поражал неоднократно собственnoю рукою хищников».

За степями, за лесами, на севере, в Санкт-Петербурге — за плечами Лермонтова, на плечах Лермонтова — стоял всероссийский император Николай, его величество, уничтожавшее Кавказ, когда горцы в приказах не назывались иначе, как хищники, дикари и сброд. — Михаил Юрьевич, пятого ноября вы расстались с Жанною Гоммер де-Гэлль. Вы вернулись на фронт в свой полк,— а мадам Гоммер де-Гэлль, на яхте французского посольства, под французским флагом, ушла в море, в бирюзу морских волн, в просторы моря, чтобы — —

чтобы — —

...от Жанны де-Гэлль остались пожелтевшие листки:

«Тэбу уехал, не простишись ни с кем, а на другой день снялся с якоря и отправился на Кавказ стреляться с Лермонтовым. На четвертый день я увидела яхту на рейде. У меня была задняя мысль, что Лермонтов еще не

уехал и будет у меня с объяснением; все же, что ни говори, возмутительного своего поступка в биллиардном павильоне, когда он так скомпрометировал меня в глазах Тэбу. Он пришел. Я простилась с моим поэтом на станции, слушала и задыхалась. Я долго оставалась в раздумьях, пока я слышала звон его колокольчика, и затем поспешила сесть на катер, доставивший меня на яхту...

...в ночь перевезли на яхту четырнадцать ящиков с двумя стами карабинов, разной мелочью для подарков, порохом, моими туалетами и двумя горными пушками, все это под печатями английского консульства. Я их везу в подарок князю адыгейцев, — кроме моих парижских туалетов, разумеется, которые обворожили моего кавказского Прометея. Мне ужасно жаль поэта. Ему не сдбровать. А я целых две пушки везу его врагам. Если одна из них убьет его, я тут же сойду с ума»...

— чтобы притти, скрыто от глаз императора Николая, к бирюзе кавказских берегов,— чтобы подняться в горы к военноначальникам тех племен, которых воспевали вы, Михаил Юрьевич, и которых — вы же, офицер Михаил Юрьевич, — уничтожали, — потому что эти люди отстаивали естественное свое право жить и не быть холуями императора Николая. Люди в горах встречали Жанну Гоммер де-Гэлль — всем благородством, которое вы знаете у кавказских племен. Вожди кланялись ей, этой солнечной женщине. — Михаил Юрьевич, Жанна Гоммер де-Гэлль привезла на своей шхуне, по сини моря — своим горным друзьям — пушки, ружья, свинец и порох, — тот свинец и тот порох, которым кавказцы отстреливались от вас,

офицер Михаил Юрьевич. Она, эта солнечная женщина, любила вас, Михаил Юрьевич, поэта и человека, любила вас так, как никто не любит, — потому что она была — не русской. Вы не знали этого, Михаил Юрьевича, — вы играли русскую партию. Вы не знали, что те пули, которые посыпали вам, — в вас чеченцы, — эти пули дала чеченцам женщина, любившая вас. Вы не написали романа м-м Жанны Гоммер де-Гэлль, вы, брат Байрона.

Я знаю — —

«...Жанна Гоммер де-Гэлль так описывала Тэбу, генерального консула:

«...Тэбу в самом деле смешон; он ходит с утра в светло-синем фраке, со жгутом и с одним эполетом и золотыми с якорями пуговицами, в белом жилете и предлинных шпорах (хотя он на лошади и без шпор держаться не умеет) и нанковых, несмотря на осень, панталонах. Костюм его совершенно напоминает Людовига XVIII блаженной памяти. Он очень смешон, особенно когда вальсирует или галопирует и садится на минуту, весь впопыхах. Он, кажется, лечится от воображаемого жира и танцует более для моциона. Он страдает закрытым геморроем»...

Михаил Юрьевич, вы дурачили этого фламандского ловеласа. Вы заставляли его в дожде дураком бегать вокруг биллиардного павильона, около вашей русской партии в любовь, когда чудесности были в ваших руках. И дурак стал рыскать за вами, чтобы вызвать вас. Вы проводили Жанну на его судно, отдали ее фламандцу...

Я знаю: — если бы не было этой ссоры с дураком, эта женщина, любившая вас, эта солнечная женщина унесла бы вас на пути своей шхуны, вы были бы с нею в морях,

вы, брат Байрона, — вы отдали б вашу жизнь вашей поэзии, вашим демонам,— и ваша жизнь была бы чудеснейшей человеческой поэмой. Вашими плечами вы подпирали бы ваших демонов, вашу поэзию, но не императора Николая Первого, — и пуля Мартынова тогда была бы оправдана!.. Жанна Гоммер де-Гэлль ушла от вас в лазурь синих морей, она записала о вас: — «Мне жаль его, он дурно кончит. Он не для России рожден». — Она была права, ваш штосс раскрыл Жанной Дюкло, Печориным я перепонтирую вас, вы не знали березовой горечи троицыного дня Ивана Алексеевича Новикова, — причем, оказывается, Жанну Гоммер де-Гэлль совершенно не следовало выигрывать штоссом Жанны Дюкло.

На севере, за степями, за лесами — лежала в болотах — великая! — Россия.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

...Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь
блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И звезды с звездою говорят.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
...Что же мне так больно и так трудно
Жду ль чего? жалею ли о чем?..

Солнце уходило в облака, и облака горели красным закатом. Закат наступал медленно и упорно. Синяя тень от Бештау легла далеко в степь. Машук немотствовал. Зеленый лес не шумел. Прокричала в лесу сова, уже по осеннему. И опять была тишина и умирал закат.

На земле валялась фуражка пехотного офицера, с красным окольшем, с высокою белою тульею, фуражка лежала вниз тульей, и в ней были вишни. Так эта фуражка и осталась лежать здесь, ночь и рассвет, пока не приехала на утро следственная — «по делу стреляния между пограничником Лермонтовым и отставным майором Мартыновым» — комиссия. Эта комиссия подобрала фуражку. Эта же комиссия описала в протоколе своем «место стреляния», как сказано в протоколе.

«...место отстоит на расстоянии от города Пятигорска верстах в четырех, на левой стороне

горы Машухи, при ее подошве. Здесь пролегает дорога, ведущая в немецкую Николаевскую колонию. По правую сторону дороги образуется впадина, простирающаяся с вершины горы Машухи до ее подошвы, а по левую сторону дороги впереди стоит небольшая гора, отделившаяся от Машухи»...

Лермонтов был убит: на дороге.

Солнце зацепилось за Бештау, озолотило его вершины. Прохлада ночи повеяла с Машуком. Тучи собирались злочище. Этот человек, в кавалерийских рейтузах и в красной рубашке, тот, фуражку которого подняли на утро, приехал первым к месту дуэли, и приехал один. И он долго лежал на земле, лицом к небу. Он глядел на умирающий закат и на тучи, которые сибирались грозой. В картуз он положил вишнен, но он не ел их.

Что же мне так больно и так трудно:
Жду ль чего? жалею ли о чём?

И в тот час, когда солнце зацепилось за Бештау, когда Лермонтов увидел — с этой проезжей в немецкую колонию дороги — увидел последний раз золото солнца на вершине Бештау, — в тот час приехали к месту бойни — блестящие офицеры: князья Васильчиков и Трубецкой, Алексей Аркадьевич Столыпин, гвардеец Глебов и — отставной майор Николай Соломонович Мартынов. Они приехали все вместе: Лермонтов — был один. Мартынов был громоздок и красив, должно быть, как Николай Первый, если бы Николай отпустил бороду, предвосхитив своего внука. Мартынов приехал убивать человека в черкесском белом бешмете, рукава бешмета были засучены, гозыри блестели серебром. Мартынов в бешмете походил на полосатый верстовой столб. Руки из-за засученных рукавов

походили на руки мясника. Это был человек очень немногих движений, потому что он проверял каждый свой жест, чтобы каждый жест был непременно красив.

Все было очень просто.

Васильчиков и Глебов отмерили тридцать шагов, десять шагов, еще десять и еще десять: каждому по десяти шагов, чтобы идти к смерти, десять шагов мертвого пространства. Глебов передал пистолеты Лермонтову и Мартынову. Секунданты отошли в сторону смотреть, как будут убивать. За Машуком прогремел гром, вдалеке затрепетали без ветра листья.

Васильчиков скомандовал:

— Сходитесь!

Ворот красной лермонтовской рубашки был расстегнут, его рейтусы были измазаны землей, и желтый дубовый лист, оторвавшийся от ветки родимой, трепетал, зацепившись за голенище сапога. В горести Лермонтова были вишни. Лермонтов взвел курок пистолета и взял пистолет подмышку, чтобы освободить руку для вишнен. — Мартынов был торжественен. Человек немногих движений, он торжественно двинулся с места, с левой ноги, пятки вместе, носки врозь. Он торжественно поднял пистолет, по всем правилам дуэлянтов. Он выстрелил. Лермонтов упал. Мартынов торжественно пошел в сторону, опустив дымящийся пистолет. Лермонтов упал с горстью вишнен в руке и с пистолетом подмышкой. Лермонтов был мертв. В груди, в правом боку, дымилась рана, из левого текла кровь, — пуля прошла насквозь. Новый прогремел над Машуком гром, налетел ветер, стемнело сразу, свинцовые тучи застлали небо, полил дождь. Солнце ушло за землю. Глаза мертвеца были открыты и были — мертвые. Дождь смочил волосы мертвеца, и белая прядь на лбу, которую так любила гладить м-м Гоммер де-Гэлль, выбилась из прически, завилась. Труп лежал на колее дороги.

Князь Васильчиков тогда поскакал в Пятигорск — за лекарем. Черный мрак пал на землю. Дождь лил и лил из-за Машука. Лекаря отказались ехать на место дуэли — по такой погоде, и требовали — или протокола, или приказа — полицейских. И тогда в город поехали Столыпин и Глебов — за извозчиком, чтобы перевезти труп. И опять гремели громы и перекатывались эхо в горах, и рвались молнии, — и труп валялся на грязи дороги под дождем, молнии блистали над ним, и гремели громы. Извозчики в городе последовали лекарям. И только к полночи приехали полицейские дороги. Офицеры пошли к трупу, чтобы оттащить его в сторону от колеи, они поволокли его, — и мертвец тогда вздохнул, спертым воздухом со свистом выступил из груди: Лермонтов вздохнул очень печально, очень глубоко и — облегченно. Мертвца взвалили на дороги, прикрыли полицейской шинелью и повезли в город. Фуражка на земле осталась до утра коротать ночь, — а кровь осталась в земле — навсегда. И всю ночь рвалось небо молниями, и стонал лес, и метался ветер, и кричали совы.

...«Погребение пето не было»...

Усадьба Знаменское лежит под сердцем России, в тридцати верстах от Москвы, — и лежит в Черногрязенской волости, родовая подмосковная.

Шли годы. Мимо усадьбы пролегла железная дорога. Вокруг усадьбы задымили заводы. Усадьба, ее парки, ее пруды, река Клязьма под горою, дом с колоннами, с мезонином и с часами на бельведере, конный двор, службы — остановили время. В залах этого дома стала тишина. В залах этого дома висели родовые портреты. В кабинете хозяина этого дома — на письменном столе стоял портрет, один-единственный, небольшой, темный, сделанный масляными красками, неизвестного художника, — портрет Лермонтова. Лермонтов положил голову на руки и смо-

трел вперед — очень пристально, очень тяжелыми глазами. В этом доме нельзя было говорить: о нем. Кабинет был пуст. Хозяин дома дни свои проводил в этом кабинете, никогда не появляясь на людях. За окнами осыпались листья и зеленели вновь, шли дожди и падали снега. В этом доме никогда не смеялись. Пало крепостное право, строились железные дороги и заводы, в 1871 году, в тридцатилетие убийства Лермонтова, по всей России, по императорскому указу, собирались деньги на памятник Лермонтову. Последние двадцать пять лет жизни хозяин дома выходил из своей усадьбы только раз в году — 15 июля. В дни около 15 июля хозяин дома совершенно замолкал. В этот же день — никто его не видел; полями, по бездорожью, он ходил на соседний заштатный погост князей Мышецких — и там служил — заупокойную обедню о рабе божием Михаиле. Дома в этот день он не выходил из своего кабинета, его никто не видел, и он сидел перед портретом — его. Он положил голову на руки и смотрел вперед. В этой усадьбе никогда не говорили — о нем. Дороги к усадьбе заросли лебедой.

Николай Соломонович Мартынов умер в родовой постели с 14-го на 15-е декабря 1875 года, через тридцать четыре года после дуэли. В завещании своем он наказал никаких надписей не делать на его могильном камне, даже имени, — дабы имя его было стерто песком времени.

Погребение пето — было.

Углич,
22 августа 1928.

СОДЕРЖАНИЕ VIII тома

	<i>Стр.</i>
Старый дом	5
Его величество kheb piter komandor	31
Санкт-Питер-Бурх	61
Немецкая история	85
✓ Дело смерти	107
✗ Снега	121
✗ Лесная дача	145
✓ Год их жизни	167
Числа и сроки	181
✗ Штосс в жизнь	199



1 9 3 0